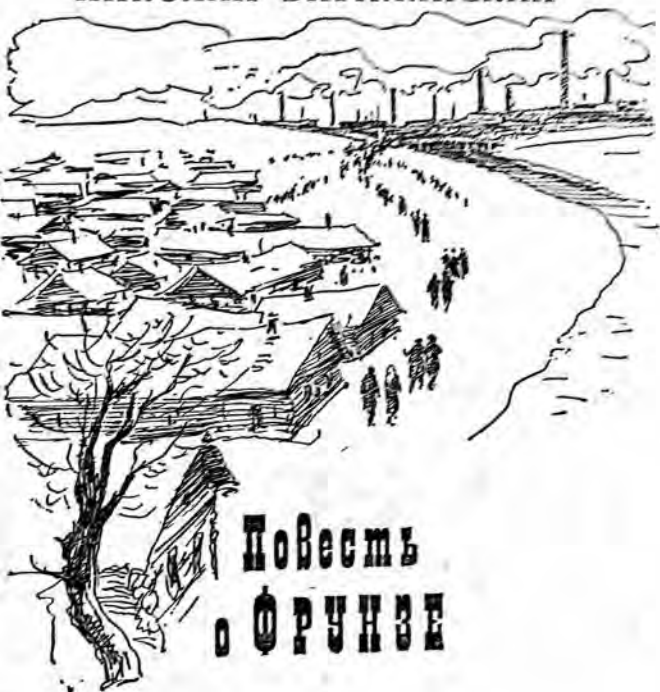


НИКОЛАЙ ВИГИЛЯНСКИЙ



Повестъ  
о ФРУНЗЕ

НИКОЛАЙ ВИГИЛЯНСКИЙ



Повесть  
о ФРУНЗЕ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1975

ЗКП1, (09С) + В415

В 415

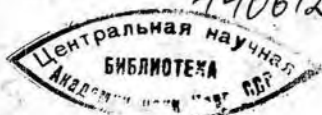
Р 2  
В 41

Писатель Николай Дмитриевич Вигилянский в «Повести о Фрунзе» ведет рассказ от имени рабочего Саша Ершова, встречавшегося с М. В. Фрунзе в разные периоды его деятельности. Перед читателем Фрунзе предстает как обаятельный человек, выдающийся пролетарский полководец и военный теоретик, пример целеустремленности, стойкости и мужества,

© «Советский писатель», 1975, с исправлениями и дополнением.

В 70302—137  
083 (02)—75

440612





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1. ТРИФОНЫЧ

Фрунзе приехал к нам в Иваново-Вознесенск в мае 1905 года. Родных и знакомых в городе у него не было. Никто из ивановцев его не знал. Долгое время никому не были известны даже его имя и фамилия. Трифоныч — такой была в те дни его партийная кличка.

Среднего роста, в черной суконной тужурке, в простых, гвоздями подбитых сапогах; подстрижен бобриком. Негромкий голос, округлые движения. Глаза серые, ясные, с затаенной неугасающей улыбкой. Было что-то во взгляде его, сразу привлекавшее к нему внимание. «Как

хорошо, какое счастье жить на свете, друзья мои, поздравляю вас!» — говорил его взгляд.

Увидев Фрунзе впервые мельком на большой сходке в лесу, как тогда называли — на «массовке», я уже никогда не смог бы его забыть. Нет, не просто радость жизни и доброжелательство, какие бывают у здоровых детей, светились в нем, — то была твердая, горячая убежденность в том, что люди в большинстве своем прекрасны и заслуживают самого лучшего, что только можно им пожелать. Полнота сердца, добрый, доверчивый характер чувствовались и в энергичных движениях его, в манере держаться прямо, в смелом, открытом взгляде.

И вместе с тем уже тогда были заметны в нем сдержанность и самоконтроль человека, много думавшего, строгого к себе. Эта требовательность к себе сказывалась во всем, даже в мелочах.

На нем всегда были чистые и опрятные рубашки; все пуговицы на местах. Одна из его квартирных хозяек рассказывала, что, заметив, как он вдевает нитку в иголку, собирается штопать прореху на рубашке, она возмутилась:

— Трифоныч, чего это ты взялся? Давай зашью.

Он не стал с ней спорить. Но когда ей потом пришлось стирать эту рубашку, она заметила — он распорол ее шов и зашил по-своему, мелкими-мелкими стежками, чтобы не так выделялся рубец и не морщило матерю.

Он курил, но в комнатах старался не дымить и мог подолгу обходиться без табака. Иной раз забудешь кисет или за день раздашь всю махорку и к вечеру просишь у того, у другого — завернуть, докурить. А Трифоныч останется без табака и ни у кого не просит. Разве кто догадается его угостить, но это бывало редко. Цвет лица у него, что ли, был так хорош, или слишком молодым он

казался, только люди, которых он не раз угощал табаком, вновь и вновь удивлялись, видя, как он делает скрутку:

— Трифоныч, ты разве куришь?

Выступал он редко, говорил коротко. На шумных сходках того времени это производило сильное впечатление.

Тогда у нас не было привычки к общественной жизни. Высказываясь, отвлекались: начал человек об одном, вскоре съехал на другое и вот возникает спор из-за мелочей, не относящихся к делу. С мест подают реплики. Кончил говорить один и сел, начал говорить другой, но тут первый вспомнил — не досказал! — вскакивает и договаривает свое. Все выступают по нескольку раз, а Трифоныч никого не перебивает, не спешит заявить себя. Слушает, наблюдает.

Как и каждого нового человека, встретили его у нас настороженно. Мы все знали друг друга с детства, а о нем никто никогда не слыхал. И хотя одет он был просто, сразу чувствовалось — это не рабочий.

Я бы не сказал, что у нас, ивановцев, было недоверие к интеллигенции. Наоборот, многие радовались, видя студентов в рабочем движении. Руководитель ивановской партийной группы, ткач Афанасьев, с гордостью говорил:

— Значит, мы, рабочие, — крупная сила, если образованные люди идут к нам!

Любой студент первого курса для нас тогда был больше, чем теперь академик. Ведь даже среди руководителей забастовки были совсем неграмотные люди. Висит прокламация или приказ губернатора на стене, около приказа член рабочего совета, квалифицированный литейщик или подмастер — при жилетке, при цепочке — ждет, чтобы кто-нибудь подошел и прочитал ему приказ, сам он читать не умеет. Прочтешь ему вслух, подходит какой-нибудь солидный дедушка в очках и тоже просит, как след-

— Будь другом, паренек, прочитай.

Мой отец очень любил поговорить с образованными людьми. Еще когда я был совсем маленьким, в доме у нас бывали агитаторы разных партий. Нередко заходил к отцу в те годы студент по кличке Никодим. Человек больших способностей, единственный сын всеми в Иванове уважаемого врача, Никодим в разговорах с отцом упоминал имена Аристотеля, Платона, Маркса.

Отец радовался и гордился: у нас бывает запросто такой умный человек! И Никодим не важничал, не чинился у нас, шутил с моими сестрами, рассказывал смешные истории. Но близким к нам человеком я его не чувствовал, хотя и не мог бы объяснить, за что не любил.

Однажды Никодим рассказывал, как ходил в Кохму, провел массовку и в тот же день вернулся домой пешком, отмахал четырнадцать верст. Он говорил с улыбкой:

— Для меня это ровно ничего не значит, я от этих прогулок только здоровею. Мускулы на ногах крепнут.

При этом он смотрел на мать, а я думал: «Неужели он хочет удивить ее своими прогулками в Кохму?»

Мать моя выхаживала каждый день верст по тридцати, на базар, на фабрику, в цехе вокруг станка, дома около печи, но ей и в голову не приходило хвастаться этим.

Как-то Никодим должен был прийти к обеду, и отец с утра предупредил мать. Она сбегала на базар, купила мяса. Является Никодим, стали угощать его обедом. Сели за стол. Родители довольны — принимаем гостя прилично.

Подали тушенное с картошкой мясо, открыли горшок, сразу остро запахло по всему дому. Мясо мы видели редко, оно было праздником в нашей семье. У нас во дворе жила собачонка; почуяв вкусный запах, она про-

лезла в дом, бежит к столу, вертит хвостом, от радости не знает, на какую лапу встать.

— Какой славный песик! Как его зовут? — спрашивает Никодим.

Сестра отвечает:

— Шарик.

— Шарик, служи! — говорит Никодим, берет со своей тарелки кусок мяса и бросает собаке.

Отец чуть не поперхнулся, мать начала моргать, будто пыль ей в глаза попала, дети притихли. Кусок мяса, какой Никодим бросил Шарик, доставался моим сестрам только на рождество и на пасху. Даже Шарик испугался — убежал с добычей. А Никодим ничего не замечал и манил его:

— Шарик! Шарик!

Трифоныч жил в Иванове впроголодь. Он получал жалованье от партии двенадцать рублей в месяц, столько же, сколько зарабатывал я на фабрике.

Партийная касса тогда была очень бедна. Однажды, давая Трифонычу деньги на поездку в Шую, Афанасьев, выполнявший в организации должность и руководителя и казначея, сказал:

— Три копейки сдачи.

Фрунзе порылся в своих карманах и ничего не нашел. У Афанасьева мелких денег тоже не оказалось. Старик не поленился сходить в соседнюю лавочку, разменял там пятиалтынный и выдал Фрунзе сорок две допейки — ровно столько, сколько стоил билет до Шуи.

Трифонычу не всегда хватало времени заходить в определенное место на обед. Он жил неделю на одной квартире, три дня на другой, чтобы не навести на след полицию. Иногда по дороге присаживался на траву или пенек, вынимал из кармана завернутый в газету кусок черного хлеба и съедал его всухомятку.



Помню, однажды мы, человек двадцать дружинников, пробыли до вечера на военных занятиях в лесу. Сильно проголодались, стали собирать грибы, разложили костер. Сбегали в деревню неподалеку, купили хлеба, горсть соли, попросили ведро, сварили грибы на костре.

Трифоныч ел похлебку и от всего сердца хвалил: «Очень вкусно!» А чего там вкусно — без масла, без лука, почерневшие подосиновики с плохо пропеченным ржаным хлебом.

Иногда мать настойчиво принималась угощать его. Виновато улыбаясь, он отнекивался:

— Спасибо, Клавдия Матвеевна, я недавно позавтракал.

— Где это ты успел?

— Тут. У одного товарища.

— Может быть, чаю попьешь? — спрашивала мать.

— Нет, я и чаю напился.

— Ну, тогда капустки квашеной с погребца принесу. Хочешь?

Мать знала — он очень любил квашеную капусту.

— Спасибо, — отвечал Трифоныч.

— Ты сначала поешь, потом скажешь спасибо. Живешь тут без отца, без матери, чего стесняться? Ох, молодежь!

Вот входят они в дом вместе с отцом, отец идет вперед, Фрунзе задерживается у крыльца. Минута, другая проходит — нет Трифоныча. Куда пропал? Отец возвращается на крыльцо и видит: Трифоныч оскребывает сапоги о железную скобу, снимает щепочкой грязь за каблуками, вытирает подошвы о рогожу. Мать кричит через окно:

— Хватит тебе! Чать не хоромы, все равно завтра полы буду мыть.

Когда мы очень молоды, нам словно некогда замечать стариков. Я мало говорил с моими родителями. Мне казалось, я слишком далеко ушел от них вперед. Вот все мои разговоры с матерью в ту пору: «Да... Нет... Дай поесть... Дай рубаху чистую...»

Иногда мать говорила Трифону и Никодиму:

— И зачем вы, такие молодые, хорошие люди, губите себя? Вам-то на что эти сходки, забастовки?

Конфузясь за мать, отец резко обрывал ее:

— Будет тебе, Клавдия, будет!

Даже отец считал ее совсем уж темным человеком.

Однажды Фрунзе не застал дома отца и разговорился с матерью. Она рассказала, как выносила восемнадцать детей и как двенадцать из них умерли маленькими.

— Не приходится с ними заниматься, — жаловалась она. — Так и ходишь и работаешь до последнего дня. Когда прямо в ткацкой и рожает, около станка. Добрые люди, подружки, принесут, подстелят рогожу. Отрожаешься, а на другой день опять на работу. Нажуешь хлеба, завернешь в тряпичку и оставишь вместо груди. Как тут их сохранить?

Она говорила по-старинному, вместо «до каких пор» — «докам». «Докам я буду с вами мучиться?» — кричала она на нас, когда мы были маленькими. Она говорила: «Нековда нам, работницам, семью обихаживать», — и говорила так быстро, слитно, что не каждый человек мог ее понять.

«И все это давным-давно известно», — с нетерпением думал я. Но Фрунзе слушал мать так, словно не ко мне, а именно к ней и пришел по делу.

Однажды он остался у нас ночевать, и отец проговорил с ним до полуночи.

Отец мой еще с юности своей сочувствовал революци-

онному движению. И это как-то совмещалось у него с верой в милость божью и страшный суд, с толстовскими идеями непротивления злу насилием. Путаница в его взглядах казалась мне непроходимой.

У нас в семье ничего уже не осталось от старозаветной почтительности, когда родителям говорили «вы» и даже в мыслях своих не смели им грубить. Иногда, наслушавшись отца, я раздраженно обрывал его: «Челуха на постном масле!» Но когда отец разговорился с Фрунзе, меня удивила сложность мыслей старика.

— Хорошо, согласен, когда-нибудь прогоним и царя, и полицию, и фабрикантов,— волновался отец.— Но как ты устранишь вражду и зависть друг к другу, вот что скажи мне, милый человек? Вот я всю жизнь был ткачом, к старости стал подмастером, и люди уже тычут пальцами: он подмастер! Иной раз думаешь: может, я на самом деле хожу в чужой шкуре? Может, я враг кому или зверь? Возьми наших фабрикантов — Гарелина, Бурылина, Никанора Дербенева — кто они? Ведь их отцы и деды землю пахали, день-деньской по избам сидели за ручными ткацкими станками. А дети их и внуки разжились. Занеслись высоко и не хотят считаться ни с кем. Ну ладно, прогоним их и поставим своих управителей. А ну как и те загордятся и станут гнуть свою линию, тащить себе в карман?

— А они...— начал Фрунзе, но отец его перебил:

— Нет, ты погоди! Вот я тебе скажу пример из жизни, а не из книжки. Был у нас в деревне Силин Митрофан, дружок мой, вместе ходили в школу. Был тот Митрофан из самой бедной семьи. Идет, бывало, и ягоды собирает обочь дороги. Дома у них хлеба месяцами не видели, щи варили из крапивы. Его отец в остроге сидел, в бога не верил. И Митрофан был дерзкий, в отца. Однажды сделал длинный ножик из косы и говорит: «Этим ножиком всех мироедов перережу!» Смелый был парень. И вот прошло

сорок лет, кто ж, ты думаешь, стал теперь мой Митрофан? Первый захребетник в деревне — свои лошади, сеет больше всех, нанимает работников. К рождеству даст бедняку полмешка муки, в спажинки отбирает мешок зерна. Сам стал первый мироед. Как-то встретились мы с ним, открывает серебряный портсигар: «Ты куришь, Николай?» — угощает папироской. Дескать, я тобой не гнушаюсь, по старой дружбе, хоть ты половины меня не стоишь. Вот с этой подлой натурой человеческой что вы сделаете, ученые вы люди?

— Вы же сами говорите, Николай Иванович, в чем сейчас его вредная сила: свои лошади, своя земля и сеет больше всех, — сказал Фрунзе. — Те же ваши Маракушевы, Гарелины, Никанор Дербенев, и у них свои фабрики, своя земля. Пусть его хоть весь свет осуждает и проклинает — все равно он хозяин. И сыну передаст наследство, и глупый сын будет хозяином над людьми. А станут фабрики и земля собственностью народа, на что неверный человек сможет опереться? Пусть он испортится, возгордится — его лишат доверия, и все. Лишат его народного доверия — и кончился, пропал человек.

— Так-то оно так, да когда мы к этому придем? — вздохнул отец.

— От нас зависит. Как пойдем. Возьмемся дружно — значит, скоро придем. А будем оглядываться каждый на свои сомнения, еще сто лет будем мучаться.

— Народ больно глуп у нас. Все терпит народ, — пожаловался отец.

Я ждал, что ответит ему Фрунзе, однако он молчал. Последнее слово как будто осталось за отцом. Но это не принесло ему успокоения. В темноте он долго еще думал, кашлял и курил, пока мать не сказала:

— Ну ладно, отец. Давайте спать. Завтра всем подниматься рано.

## 2. ТАК СКЛАДЫВАЛСЯ ХАРАКТЕР

До того времени мне еще не приходилось встречать человека, который вбирал бы в себя чужую жизнь с такой жадностью, с таким интересом, как Фрунзе. Но сам он обычно не рассказывал о себе и того, что можно услышать в любой компании,— как кто-то тонул, например, или чуть не попал под поезд, о головной боли, о том, как сегодня спалось; никогда ничего подобного я не слышал от Михаила Васильевича. И не оставалось впечатления, что он умалчивает о чем-нибудь, не доверяет другим или нарочно остается в тени. Он жил настолько стремительно, настолько нагруженный все новыми и новыми впечатлениями, что у него не оставалось свободной минуты для рассказов о себе. И в разговоре с ним казалось невозможным допустить себя до болтовни и пустяков и, позевывая, молоть что-нибудь скуки ради.

В те времена я не умел глубоко задумываться о людях, верил в случайности и врожденные добродетели. И лишь десятилетия спустя меня стала преследовать мысль: где и как рос Михаил Фрунзе? Ведь он приехал к нам почти сложившимся. Какое счастливое сочетание многих условий нужно было, чтобы уже к двадцатилетнему возрасту сформировался такой хороший, привлекательный, серьезный человек!

В тридцатых годах я разыскал в Москве старшего брата Фрунзе — Константина Васильевича — и его сестру Клавдию Васильевну. Они рассказали мне кое-что о своей семье, о детстве Михаила.

Семья жила в среднеазиатских городах — Верном, Пишпеке. Неподалеку, за самыми высокими в мире горными хребтами, были Индия, Китай, Монголия, Афганистан. Снежные вершины, всадники на низкорослых лошадях, в меховых островерхих шапках, дикие степи и

горячие пески, — пустынными, суровыми были дальние окраины царской России. Многочисленные народы, населявшие их, — киргизы, казахи, дунгане — жили неприкаянно, в кочевых становищах, в войлочных кибитках, в приземистых мазанках. Страшные болезни гнездились там, в жарких полупустынях: чума, холера, пендинская язва.

Отец Фрунзе был фельдшером, очень нужным человеком для местного населения. Кочевники приезжали к нему за сотни верст. Он любил людей, любил свой труд и мечтал, чтобы его дети стали врачами. Еще ребенком Михаил Фрунзе помогал отцу: присутствовал при операциях, подавал бинты, инструменты.

Иногда в полночь или под утро в окна дома стучали больные, и мать, полуодетая, доверчиво шла открывать дверь, и никто в доме не обижался, если поздние посетители будили всю семью. Даже дети понимали: дело шло о чьей-то жизни или смерти. Добрый, отзывчивый отец Фрунзе был «человеком для людей», и дети видели это, привыкли к мысли, что жить надо не только для себя и для своей семьи.

Семья осиротела рано. Мать Фрунзе осталась вдовой с пятью ребятами. Образования у нее не было почти никакого. Она не могла ходить и на поденную работу: девочки были еще совсем маленькими. Мать брала на дом стирку. Старший сын, гимназист Константин, давал уроки. Жили очень бедно, обедали в кухне, сидя на ящиках, прикрытых домоткаными половиками. Но чистота в квартире поддерживалась безукоризненная. Как бы ни уставала мать, она строго следила за тем, чтобы все было в порядке и на своем месте.

Полуграмотная женщина, мать часто говорила Косте и Мише:

— Мне ничего не нужно, я все перенесу, лишь бы вы учились и были как отец.

Михаил учился хорошо, однако часто приносил четверки по поведению и записи в дневниках: «Дурно велел себя на переменах», «Подражал на уроке закона божьего». У него был резкий, невоздержанный, непоседливый характер. Иногда он совершал странные поступки. Однажды поджег во дворе стог сена — посмотреть, что из этого выйдет. Соседки говорили матери: «Безотцовщина, распустился... Ты бы его выпорола хорошенько хоть разок». Но это было не в ее правилах, она никогда не била детей. Она советовалась со старшим сыном, и деликатный по натуре Костя говорил: «Миша немного подрастет и сам поймет, что ведет себя нехорошо».

Михаил подрастал, но благоразумнее как будто не становился. Когда он был в четвертом классе, мать вызвали к директору и пригрозили, что за дурное поведение лишат Михаила стипендии, которую он получал в память заслуг отца. Мать не заплакала. Она вообще не давала воли слезам. Она пришла домой, села за стол, пригорюнившись, созвала Костю, Михаила, Клавдию, Людмилу.

— Дети, что же мы будем делать дальше? У нас ничего нет, живем в чужой квартире, здоровье мое плохое. Зарботки небольшие. Один Костя поддерживает семью, до поздней ночи бегает по урокам. А он ведь молодой, ему тоже хочется и погулять и почитать. Боже мой, ни на что не хватает времени! А тут еще сегодня вызвали меня в гимназию, говорят, что Мишу за плохое поведение лишат стипендии. Посоветуйте, дети, как дальше нам жить?

Что-то в ее печальных искренних словах потрясло Михаила. Он не стал оправдываться. Не давал никаких обещаний. Глубоко задумался и спросил:

— Костя, а я бы не смог стать репетитором, как ты?  
Мать усомнилась:

— Миша, я хватит у тебя терпения? Ты и на уроках-то не можешь высидеть! И кто тебе доверится, если все говорят, что ты слишком озорной?

Михаил огорчился, замкнулся, и на этом кончился семейный совет.

Через несколько дней Миша Фрунзе сказал брату:

— Костя, у меня есть ученик.

Это был сын церковного старосты, второгодник Свиридов, рыхлый, тяжелый увалень, на голову выше Михаила. Он сидел на задней парте, говорил басом, по всем предметам получал двойки и своей невнимательностью настолько сердил учителей, что преподаватель латинского языка однажды в бешенстве сказал:

— Никогда в жизни, болван, из тебя ничего не выйдет! Такой дубиной стоеросовой только ворота подпирать.

Сдвинув вплотную стулья, плечом к плечу со Свиридовым, Миша Фрунзе, водя пальцем по строке, заставлял его читать, поправляя на каждой фразе, и требовал:

— Повтори...

Всю свою живую сообразительность он вкладывал в то, чтобы заставить Свиридова думать. Устав от привычного напряжения, пожевывая, Свиридов искал по сторонам, чем бы развлечься. Заметив муху, складывал лодочкой ладонь, но раньше, чем успевал двинуть рукой, его репетитор, схватив муху, спрашивал:

— Крыло... какого рода?

— Среднего.

— Правильно, молодец. А глаз?

Через год у Миши Фрунзе уже было несколько учеников.

Его дни с утра до вечера были распределены на несколько месяцев вперед.

Иногда, чтобы не опоздать с урока на урок, он бегом бежал с одной окраины города на другую. Часто ему не



хватало времени подготовить свои домашние задания, и он сидел за учебниками на переменах, зажав ладонями уши, сосредоточиваясь с такой силой, что успевал за полчаса усвоить то, на что многим его товарищам требовался целый вечер. Гимназию он окончил с пятерками по всем предметам и с золотой медалью.

У него почти не было досуга. Но вот приходили праздники и можно было наконец повеселиться, потанцевать. Миша Фрунзе не мог сидеть, когда где-то играла музыка. Рано кончались школьные вечера. Строгие гимназические правила запрещали развлечения после одиннадцати вечера. Гасли огни в городе, и когда расходились по домам, на темном бульваре Миша предлагал:

— Давайте здесь танцевать?

Потихоньку напевая, натываясь на деревья, в пыли бульвара кружились пары.

Стали подрастать сестры Фрунзе — Клавдия и Людмила. Мать уже часто прихварывала. От бесконечных стирок у нее распухали руки, с перебоями работало сердце. Но когда дочери говорили ей: «Мамочка, ляг, отдохни», — она возмущалась:

— Что это я буду лежать среди бела дня?

Когда все-таки приходилось ложиться в постель, мать тревожилась и оправдывалась:

— Дети, мне уже лучше. Я скоро встану.

И они старались облегчить ей жизнь. Девочки стирали, гладили, мальчишки кололи дрова, топили печь.

Приходя поздно вечером домой, Костя и Михаил сами доставали из русской печи чуть теплую кашу и мыли посуду, а рано поутру бежали в лавочку за хлебом, за керосином.

Когда мать болела, неоткуда было ждать помощи, дети были предоставлены сами себе. И Михаил уже чувствовал себя старшим.

— Клава, ты приготовила уроки? — первым делом спрашивал он, приходя вечером домой.

Однажды она сказала ему:

— Миша, я ждала тебя. Я хочу тебе сказать одну вещь. Пойдем отсюда, мама уже спит.

Они вышли в просторный двор, где горько пахло кизячным дымом и овечьим пометом. Где-то неподалеку журчала вода в арыке. Огромные звезды южной ночи мерцали над крышами домов.

— Миша, ты скоро получишь какие-нибудь деньги? Людмила сегодня попала в арык и потеряла туфлю. Я говорила маме, она рассердилась и не велела даже заикаться Косте. Он сам ходит бог знает в чем, ему давно нужно новое пальто.

— Напрасно ты сказала об этом маме. Не надо было ее зря тревожить. Я завтра схожу... Мне должны в одном месте. Может быть, отдадут. Постараюсь, чтобы отдали, — негромко говорил Миша.

Так они шептались в ночи, точно заговорщики, чувствуя свою ответственность за всю семью.

В Верном было немало ссыльных социал-демократов. Гимназисты подружились с одним из них — студентом Тихомировым. В пустой комнате, где жил Тихомиров, стояли только деревянная койка и шаткий столик. Табуретки и подоконники были завалены книгами и старыми газетами.

Тихомиров жил словно на почтовой станции в ожидании перекладных лошадей. Он не всегда помнил, обедал ли сегодня. Ходил в помятых брюках, сандалиях на босу ногу и вряд ли отдавал себе отчет, что надето на нем.

Тихомиров прочитывал за день по несколько книг. Когда они не умещались на подоконниках, складывал их на полу. Он сам в шутку называл себя «Диогеном в бочке», очень радовался, когда к нему приходили гимнази-



сты, снимал очки с толстыми стеклами и, сильно растирая покрасневшие веки, добродушно спрашивал:

— Ну, что творится в божьем мире, мушкетеры? Садитесь кто как сумеет.

Гимназисты запросто усаживались на кровати, на табуретках, на стопках книг.

— Георгий Александрович, мы решили организовать кружок по изучению марксизма,— сказал однажды Миша Фрунзе.

— Ну и очень глупо,— возразил Тихомиров.— Зачем вам яркие вывески? К чему дразнить начальство? Назовите просто — кружок самообразования. Вы слышали когда-нибудь, что такое конспирация, мушкетеры?

Он дал им однажды брошюру Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и вряд ли ожидал, что они одолеют эту книгу. Розовощекие гимназисты в форменных фуражках! Но они, с помощью Миши Фрунзе, прочли Плеханова и потребовали «Капитал» Маркса и его исторические работы и «Феноменологию духа» Гегеля.

Гимназическое начальство и жандармерия вскоре встревожились: что это за кружок самообразования? Собираться у Тихомирова было уже неудобно. Уходили за город с рюкзаками, с сачками для ловли насекомых, со старенькими отцовскими двустволками. Не только делать что-нибудь доброе, но даже думать и читать можно было только втайне в «тюрьме народов», какой была в те годы наша огромная страна.

### 3. ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК

Город наш был таким же, как большинство сел и малых русских городов той эпохи. Темные деревянные срубы стояли близко один к другому. Прогнившие, изъе-

денные зеленым грибом крыши, скворечники, изгороди из жердей... И запах постных щей, кислого житного хлеба, сырой кожи и махорочного дыма не выветривался из тесных комнатушек, где торчала пакля из бревенчатых стен и рыжие тараканы ползали около божниц.

Грязь на улице стояла непроворотная. Помню, как под пасху, неподалеку от нашего дома, я увяз, как муха, переходя перекресток. Потерял калошу, в поисках ее утонул почти до колен. Выдернул ногу, с нее снялся сапог. Пришлось нашаривать в кромешной темноте и, стоя на одной ноге, извлекать сапог из грязи.

Мать моя всю жизнь проходила в сапогах. Колодца у нас во дворе не было, и еще затемно, с коромыслом на плече, с побрякивающими ведрами, она шла на угол, где соседки уже месили грязь и вертели скрипучий ворот.

По вечерам на окраинах обычно не зажигали огня, экономили керосин. Тихо было повсюду, разве только послышится где-нибудь пьяное пение, или усталая ругань, или шлепающие шаги под окном. Услышишь, бывало, как где-то тренькают на балалайке, и дух захватит: где это играют столь хорошо, откуда такая радость? Бежишь со всех ног, а там уже сверстники мои стоят на углу, парни в одной кучке, девушки в другой, щелкают семечки, чего-то ждут. И долго-долго стоят так и ждут. Чего?

Попав на наши окраины, посторонние люди могли подумать: «Обыкновенная деревня!» И одевались у нас, как в деревне: полусапожки, сатиновые косоворотки, суконные картузы. И стриглись в кружок, и пели старинные деревенские песни: «Колечко мое позлащенное» и «За горой-горой озерко с водой».

Но вот наступает утренний рассвет, и во всех концах города на разные голоса запевают фабричные гудки. Одни чуть раньше, другие немного позже, как бы спохва-

тившись, вплетаются в могучий хор. Одни гудки словно сердитые, спросонок, другие хвастливо-залихватские, победительные, уверенные в себе. Хлопают калитки по всем улицам — дневная смена выходит на «заработку». Идут сначала кучками, потом лавиной, во всю ширину улицы. Странная деревня, где не пахут, не жнут и где даже зимой только маленькие дети и дряхлые старики остаются домовничать. Странная деревня, где нет ни амбаров, ни лошадей, ни овинов на задах, где все зависит от фабрик, кормятся только от них.

Здесь даже чахлые кустики редко росли — их объедали голодные козы. И речки у нас были не как у людей — ни напиться из них, ни искупаться в них. Вода была отравлена вонючими отбросами фабрик, и рыба в Уводи и Талке перевелась еще в незапамятные времена.

Мне едва исполнилось четырнадцать лет, когда отец через знакомого конторщика устроил меня учеником слесаря на фабрику Бакулина. День, когда я принес первую получку, был праздником в семье. Мать испекла пирог, отец купил наливки. Меня посадили в передний угол под образа. И отец чокнулся со мною, как со взрослым.

Он сильно потратился, чтобы устроить меня на работу: четверть ведра водки пришлось поставить мастеру, пять рублей заплатить приятелю-конторщику. Но отец о затратах не жалел, радовался от всего сердца: я становлюсь самостоятельным, становлюсь кормильцем семьи.

И так было у нас по всему городу: в лучшем случае ходил годик-другой в школу — и довольно, хватит. Скорее спешат устроить сына на фабрику, в отбельную или в красильную, или, на худой конец, хоть к сапожнику либо в лавочку на побегушки, лишь бы полегче было семье. И девочек тринадцати-четырнадцати лет уже

устранвали ученицами на прядильные и ткацкие фабрики.

К девятнадцати годам я стал слесарем первой руки, дежурным по смене. Разладится паропровод в котельной, и вот уже бегают и всюду ищут меня: «Где Саша? Никто не видел, куда Ершов пошел?» — Приходят в котельную заведующие цехами, иной раз и сам хозяин с трубкой в зубах. «Ну что там, Сашка? Долго будем стоять?» — «Порвало прокладку, сейчас исправлю», — отвечаю я, перекрывая главный вентиль паропровода, возясь с гаечными ключами. Вокруг меня стоят, ждут. И сам Бакулин, хотя ничего не смыслит в моем деле, поторапливает: «Ершов, давай, давай!» Ставишь новую прокладку, снова пускаешь пар по трубам и чувствуешь себя чуть ли не главным лицом на фабрике.

Подолгу я любовался, как в нижнем этаже прядильного корпуса тек по желобу хлопок — не вниз, а вверх.

На втором этаже бесконечную ленту эту втягивала машина, пушинки хлопка цепко держались одна за другую и, словно преодолевая все законы природы, возносились вверх по крутому склону. Или подходишь к ткацкому корпусу, и от гула множества станков трясутся стены и железные лестницы. В коридорах рев этот усиливается до того, что хоть кричи — сам себя не услышишь. Аходишь в ткацкую — грохот станков пронизывает тело до кончиков пальцев. Колышутся ветхие полы. Мелькают челноки так быстро, что их не схватишь глазом, они словно пули в полете. Люди двигаются бесшумно, беззвучно, раскрывают рты, и то, что не поймешь по движению губ, объясняют жестами, как глухонемые.

Это был высший мир непрерывного движения и яркого света, это был мир, где человек приобретал небывалую силу, но как бы не замечал ее и не мог закрепить

за собой. Ходила понурая женщина в рваных опорках около станков, связывала порванные нити, и ситец из под ее рук лился рекой. За один день она наготовлявала его столько, что можно было с ног до головы одеть несколько семейств. И вот возвращалась эта женщина домой, открывала закопченную заслонку, доставала рога из-под печки, вытягивала черный чугунок со щами, и муж канючил у нее за спиной: «Марья, дай опохмелиться!» — «Постыдись ты, олух царя небесного, дети сидят не жрамши, а тебе бы только водку хлестать».

В цехах, в конторах, а кое где и над фабричными воротами висели иконы. На рождество, на пасху и в день рождения хозяев, как в день «тезоименитства государя императора», кое-кто из фабричных пожилых людей, кто особенно боялся потерять свое место, приходил к особняку фабриканта, смазав постным маслом волосы и расчесав бороду и усы, поздравлял «кормильца», «отца-благодетеля» со светлым днем. Не только хозяину или управляющему, но и их женам, теткам и свояченицам многие рабочие низко кланялись, завидев их еще изда-лека.

Я, как и многие мои сверстники, считал, что Иваново-Вознесенск один из самых скучнейших городков во всей вселенной, и мечтал удрать куда-нибудь — или на Волгу, на пароход, или в разбойничью ватагу в Брянские леса, или вообще отправиться куда-то к черту на кулички. И отец мой, подвыпив в компании, жаловался: «Ради чего мы живем? День да ночь, сутки прочь, разве это жизнь? Народ мельчает, совсем хиреет народ! Леса повырубили, реки обмелели. И рабочий пошел не тот, что прежде. Кругом Ваньки от ворот».

«Ваньки от ворот» — так называли тверских, рязанских и дальних, калужских и пензенских, мужиков, которые приходили каждую осень толпами в лаптях и армя-

ках, с котомками за плечами, наниматься на наши фабрики. Они бежали от пожаров, неурожаев, от помещичьего произвола и сельских захребетников, часами дежурили около фабричных ворот, кланялись в пояс каждому конторщику и вымаливали хоть какую-нибудь работу, хоть за двугривенный, хоть за краюху хлеба. Они сбивали расценки, сводили на нет то, что кадровым рабочим удавалось достичь за долгие годы стачечной борьбы. Иногда на улицах раздавались вопли: «Бей сермяжников!» И не шуточные побоища, настоящие кулачные бои разыгрывались около фабричных заборов.

Город все рос и рос, на окраинах его возникали халупы с земляными крышами, поросшими травой, крыши, на которых паслись куры и козы. Как мы относились к своему городу, судите по названиям окраин: Рылиха, Ямы, Завертяиха, Голодаиха, Сахалин, Посикуша, Продирки.

Но была и в те убогие времена притягательная сила у нашего Иваново-Вознесенска не только потому, что в нем можно было кое-как прокормиться в неурожайный год, — нет, не только потому!

Сестра моей матери жила на хуторе под Кохмой. Иногда по воскресным дням она приезжала в Иваново на базар, приносила нам гостинец — кринку молока или десяток яиц — и укоряла мать:

— Что это, Клавдия, ребятишки у тебя совсем запаршивели!

У нас в семье работали и мать и отец. Мать зарабатывала в месяц семь рублей, отец — пятнадцать. Считалось, что в нашей семье мы живем прилично, на праздник покупали баранки, селедку, фунт сахара, фунт колбасы. Но в обычные дни ели постные щи, где плавали мелкие кружочки льняного масла, ели вареную картошку и житный хлеб. Младшая моя сестренка, Тоия, до



трех лет не умела ходить. Нас одолевали болезни, о которых и не слышит современная детвора: сыпки с кровавыми трещинами на руках и на ногах, стригущие лишай, чесотка. Лет двенадцати я был низкоросл и худ, болел каждую зиму, щеки у меня были впалые, руки как пластилин. Мать попросила однажды сестру:

— Груня, возьми Сашку на лето. Может, поправится здоровьем?

И вот на скрипучей телеге я поехал на хутор под Котельничем. Дядя с теткой были бездетные, дружные, шумные. В ругани у них в доме совсем не услышишь. Оба день за днем при деле: то хлев чистят, то приезжают с покоса и складывают сено на сеновал. Свои куры и гуси, своя лошадь, своя корова. Выпьешь полкринки парного молока — и будто крепкое вино ударит румянцем в щеки. Хочется двигаться, петь, собирать цветы по лугам.

Но вот наступает ночь, запирается на засов и на шею колду дверь в сенях, и умерло все, тихо все. Только ветер чуть подвывает в трубе и звезды виднеются сквозь тусклое оконце. Знаешь, что нечего и некого ждать, только может быть, сверчок проскрипит за печкой. Лежишь на лавке один-одинешенек, будто в могиле, и думаешь: «А хорошо у нас в городе».

#### 4. ПРОБЛЕСКИ МЫСЛИ

Еще издали, подъезжая к Иваново-Вознесенску, видишь, бывало, огромное зарево, как при пожаре. Сияют сказочными чертогами многоэтажные фабричные корпуса, бессонный гул и грохот далеко разносятся по улицам. Люди движутся во всех направлениях круглые сутки — ночная смена, дневная смена. Всюду в городе люди, не одни, так другие, жизнь не прекращается ни на

минуту. Звучат и среди ночи бодрые паровозные свистки, идут поезда; пар и дым поднимаются до неба над скоплением деревянных домишек. Там и здесь среди бедных лачуг красивые дома с широкими окнами, с лепными украшениями и колоннами — особняки и дачи фабрикантов.

Рабочий день на фабриках продолжался одиннадцать с половиной часов. Выходишь из дома еще ночью, в пятом часу утра, в темноте. Возвращаешься тоже затемно. Промелькнул, минул день, будто и не было его. И вот так вся жизнь проходила, год за годом, без солнечного света, в грязи и дыму, в тесноте цехов, вдали от зелени и цветущих полей. Идешь в замасленной одежде, с грязными лицом и руками, будто вылез из подземелья, идешь, с трудом переставляя ноги, и мечтаешь только об одном: лечь, вытянуть ноги, уснуть.

И вдруг звуки рояля за высоким освещенным окном пробуждают от этого душевного сна. Девичье лицо мелькает за бархатной занавеской. Нарядные люди выходят из особняка. Дверь как бы сама отворяется перед ними; ее угодливо распахивает седобородый швейцар в золотых галунах. Экипаж с крытым верхом, пара серых лошадей, кучер в черной поддевке ожидают богачей.

На женщине широкополая шляпа с цветами и перьями. Сережки с бриллиантами покачиваются, посверкивая под завитыми локонами. На одной руке перчатка, другая, белая, нежная рука, — вся в перстнях.

Ни на кого и ни на что не глядя, нарядная пара пересекает мой путь. Господин в шубе с бобровым воротником, в блестящем цилиндре усаживает даму в экипаж. Потом он сам ставит ногу на подножку, и пролетка накрывается на рессорах, так грузен этот господин. Кучер щелкает языком, лошади срываются с места, но запах

духов и звуки рояля остаются, и швейцар, не затворяя двери, смотрит на меня: чего это я остановился — не собираюсь ли побить окна или напакостить у крыльца?

«Что ты уставился на меня, болван, господский хлюй?» — раздраженно думаю я. Нет уже сонливости: замедлив шаги, прохожу мимо особняка, и музыка, как будто не признавая деления общества на классы, прекрасная музыка провожает меня от окна к окну. Какой удобной, какой красивой может быть жизнь! И почему это так: те, кто не работают, ни за что не отвечают, думают только о своих удовольствиях, они имеют все? А мы — отец, мать, я, сестра Катя — трудимся и в дневных и в ночных сменах, и некогда книжку почитать, некогда взглянуть на себя, работаем, работаем годами и десятилетиями — и все-таки нет у нас ничего!

Может быть, нарядные люди из особняков лучше и умнее нас? Может быть, у них так много знаний и мудрости, что жизнь остановится без них?

Семья фабрикантов Гарелиных была одной из самых богатых и известных в Иваново-Вознесенске. Еще в детстве я слышал много рассказов о Мефодии Гарелине. Рабочие за глаза называли его Мефодкой. Полуграмотный человек с ехидным лицом, с гнусавым голосом, Мефодка владел несколькими фабриками в Иваново-Вознесенском районе. Когда ткачи его фабрик жаловались ему на гнилые основы, из-за которых получается брак, на тесноту в цехах, на то, что челноки то и дело срываются с ветхих станков и попадают людям в глаз, а то и в висок, убивая наповал, Мефодка, юродствуя, говорил: «Я в этих делах, братцы, ничего не понимаю. У меня есть управители, директора, я им плачу большие деньги. Идите к ним, они разберутся».

О Мефодке рассказывали: однажды он подал на улице нищему пятак, и вдруг ему стало жалко своих денег,

он рысцой догнал нищего, отнял у него пятак и проворчал: «Нечего, братец, нечего! Иди, иди! Работать надо!»

За городом, за сосновым бором стояла дача Гарелиных. Бесконечная чугуниная ограда отделяла от всех людей и дачу с надворными постройками, и цветник, и сад с фруктовыми деревьями, и березовую рощу, где мать моя в молодости, когда еще не была построена ограда, собирала грибы и ягоды. Потом березовая эта роща была как бы посажена под арест, за тюремной решеткой шелестели зеленые листья. Острые чугунные пики устрашающе тянулись к небу; они были связаны толстыми прутьями, украшены там и здесь металлическими гербами и орлами. И словно мало было чугунного частокола: сирень и акация были густыми полосами посажены за изгородью, чтобы совсем закрыть сад от человеческих взоров. Что же было там, что так ревниво охранялось от людей?

Однажды летом, в воскресный день, прильнув к решетке, я увидел сквозь просветы кустов сирени клумбы с цветами. Там были темно-красные, почти черные, махровые розы. Они показались мне искусственными, так они были огромны и красивы. А среди роз в низком кресле возвышалась глыба мяса. Когда-то это была женщина. Платье с оборками не могло скрыть тройной шеи и грудей, лежащих на животе, и живота, свисающего на слоновьи ноги. Неужели для того, чтобы эта туша лежала, задыхаясь, среди роз и для того, чтобы Мефодка Гарелин купался в миллионах, тысячи полуголодных людей работали по двенадцать часов в сутки?

Какой дьявол придумал все это и почему люди терпят? Отец мой говорил: «Свет стоит на несправедливости!» Почему? Ведь тех, кто страдает от несправедливости, гораздо больше, чем злых людей. Как же весь народ позволяет издеваться над собой? Неужели не понимают

своего унижения? Значит, я один такой умный, все понимаю? А может быть, это я глуп и есть смысл и порядок в мире, только я по слепоте своей их не вижу? Может было сойти с ума от таких мыслей!

У нас на фабрике работал Евлампий Дунаев, один из видных деятелей большевистского ивановского полполя. Дунаев давно уже был занесен в «черные» полицейские списки, но, казалось, несколько не огорчался этим. Мастера, жопалые, жандармские наушники следили за ним. Однако на фабрике он был осторожен, говорил туманно, с шуточками-прибауточками и не касался «священной особы государя-императора».

Однажды в курилке ткацкого цеха я услышал, как Дунаев резким, высоким голосом спрашивал пожилого ткача:

— Сколько ты получаешь?

— Восемь рублей в месяц.

— Вот ты и посчитай, — значит, меньше ста рублей в год. А хозяину идет каждый год от тебя прибыли две три тысячи рублей.

— Неправда это! — изумился ткач.

— Правда, темная твоя голова! Поговори с конторскими, они тебе докажут по книгам. Хозяин в десять, двадцать раз больше имеет выгоды от тебя, чем тебе дает.

— Так ведь это была бы обдираловка!

— А ты думал как? Да еще штрафами вытрясет из твоих восьми рублей рубля два в месяц. А нас на фабрике больше тысячи душ. Значит, на одних штрафах наживает Бакулин еще тыщонки две в месяц. Ты думал, он тебя из милости держит, ради твоих красивых глаз?

— Так ведь он терпит убыток не только на мое жалованье. Он машины покупает, строит новый ткацкий цех. Ведь это тоже тысячами пахнет! — не сдавался старый ткач.

— Ну и что ж, тысячу рублей на машины, на новый цех, а десять тысяч своим любовницам, на построение храмов, полиции, судейским, чтобы защищали его интерес.

Кто это так уверенно и так просто говорит о самых запутанных вещах? Мне захотелось познакомиться поближе с этим смелым человеком.

Евлампий Дунаев был первым наставником моим. Он давал мне листовки, отпечатанные на гектографе, подписанные: «Северный комитет Российской социал-демократической рабочей партии», и я разносил их по цехам. Но где этот таинственный комитет, какие силы стоят за Дунаевым, до весны 1905 года мне было не ясно.

## 5. ШТАБ РЕВОЛЮЦИИ

Мы шли по лесу, заваленному мокрыми прошлогодними листьями, ноги скользили в грязи. На голых ветках деревьев чуть-чуть намечались почки. Это был обнаженный, скучный лес, лишь кое-где на полянках пробивалась первая трава. Но ветер дул пахучий, весенний. Мне чудились в нем песни, голоса. Или от волнения кровь звенела в ушах?

Дунаев говорил мне:

— Трудное дело, Саша, на которое мы идем. Как говорится в писании: «Оставь отца и мать своих и иди за мной». Тюрьма, Сибирь на каждом шагу угрожают нашему брату. Я тебя не стращаю, но имей в виду — живи не вслепую.

Мне было двадцать два года. Мало хорошего я видел на своем веку. Очень хотелось жить. И именно потому, что хотелось дышать полной грудью, не скрывать своих мыслей, видеть умных людей, делать большое дело,

а не только отбывать повинности ради куска хлеба, я и шел на нелегальное собрание в лесу.

Прочитав брошюры, какие мне давал Дунаев, — «Пауки и мухи» Вильгельма Либкнехта, «Кто чем живет» Дикштейна, — я знал, во всяком случае был уверен, что знаю, за что надо бороться рабочему. Но и еще какая-то неясная мечта вела меня тогда. То была мечта о человеке.

Да, мечта о такой дружбе и верности, о такой полной отдаче себя, когда выходишь из своего личного существования в широкий мир, в будущее, в бесконечность. Лет до пятнадцати иллюзию такой бесконечности давала мне вера в бога. Стоя в церкви где-нибудь за темной колонной, прикладывая три крепко сжатых пальца ко лбу, к груди и плечам, я был убежден, что общаюсь с добрым, справедливым существом, всевидящим и всемогущим и это давало отраду, поднимало над мелочами жизни. Казалось, не зря, не бесследно проходят мои дни: какое усилие воли, каждый хороший поступок отмечаются на небесах.

Но постепенно таяла вера в разумное существо управляющее миром. Слишком много неразумного видел я вокруг себя. И если приписывать воле божьей все обиды и гадости, какие испокон века существуют на свете, насколько же слепой и недоброжелательной пришлось бы признать эту волю божью? Постепенно крепло во мне недоверие ко всяким словам о справедливости и мудрости «всевышнего».

А отец, мать, сестры и тысячи людей вокруг меня продолжали надеяться на «повелителя и творца небесного» и на те награды, какие они получают на небесах. Это не только раздражало меня, но и вызывало чувство одиночества среди самых близких людей. Я был угрюм замкнут, не знал, кому верить и что любить, и в то же

время чувствовал, что так жить нельзя. Ведь не ради того только, чтобы поработать, наесться щей и каши, выпить под праздник стаканчик водки, спеть, погрустить и уснуть, живет человек. А ради чего?

Началом новой жизни была для меня моя дружба с Дунаевым. Что он был мне — ни брат, ни сват и не имел никакой личной корысти в беседах со мной, ради общего дела стремился вложить в меня свою душу.

Что-то немного грустное было во взгляде Дунаева, как бы отсветы затаенной тревоги. Осторожность бывалого подпольщика чувствовалась в нем, но не было той отталкивающей недоверчивости, какую я часто встречал в людях и не любил. Не любил насупленных взглядов исподлобья, говоривших: «Кто тебя знает, может быть, ты жулик или хозяйский шпион». Даже у молодых, розовощеких девушек бывало такое надутое, обиженное выражение лица, словно в кулаке у них была зажата копеечка и они боялись, что копеечку украдут. Себялюбивого недоверия к людям не замечал я в Дунаеве, и мне было легко с ним.

В пустом лесу вышли из-за деревьев двое дюжих парней и, держа руки в карманах ватных курток, двинулись к нам.

— Кого вы ищете здесь?

— Мы ищем завтрашний день, — ответил Дунаев.

— Идите напрямик. Перейдете овраг, там вас встретят.

И вот за деревьями открылось большое сборище людей. Сначала мне показалось, что их очень много. Одни сидели на пеньках, на стволе поваленного дерева, другие стояли группами. Я узнавал некоторых знакомых, но так был взбудоражен и люди эти казались настолько значительнее, чем обычно, что я лишь кивал им, без улыбки, головой и молча пожимал руки.



Отец, в это время Саша Ершов из ремонтно-механического. Поминишь, я говорил, — представил меня Дунаев.

Тот, кого он называл «Отцом», Афанасьев, показался мне человеком весьма суровым. У него была темная борода, запавшие глаза пристально смотрели из-за очков. Не только очки в круглой оправе, но и его линия лба, алая косоворотка бросились мне в глаза. Ворота косоворотки из материала более темного цвета казался заплаканными. Лицо Афанасьева, изможденное и бледное, говорило о тяжелой жизни, о болезнях.

— Не будем затягивать, товарищи. Предлагаю начать с опоздавших. Слово имеет Странник, — объявил Отец.

Семен Балашов, приземистый, пожилой, с усами тусклого цвета, вышел в центр круга.

— Скоро мы вместе с трудящимися всех стран будем отмечать наш праздник — Первое мая, — начал он.

Ничего праздничного не было в его речи. Он говорил о нищете нашей, о бесконечно долгом рабочем дне, о штрафах, о грубости мастеров. Мне запомнились его слова: «Мы живем как бессловесные звери, и никто нам не поможет, если мы сами не поможем себе». Он говорил о войне с Японией, какую затеяло царское правительство, чтобы отвлечь внимание от безобразия нашей жизни и подавить всеобщее недовольство. «Но это им не удалось, господам министрам и правителям нашим, они только выставили на посмешище всему свету свою неспособность». Он говорил о петербургских рабочих, которые шли к царю девятого января с иконами и царскими портретами и получили пули вместо царской милости. Довольно быть рабами царя небесного и царя земного», — закончил Балашов.

— Предлагаю почтить память рабочих, погибших в

Все поднялись со своих мест и молча стояли, пока Афанасьев заговорил снова:

— Есть предложение провести в мае всеобщую стачку в Иваново-Вознесенске. Как вы думаете, есть сейчас у нас для этого силы?

— Есть! — ответило несколько голосов, и я, сам того не замечая, воскликнул:

— Есть!

Люди, которые в наступающих сумерках стояли в сыром пустом лесу, болели душой за всех, а их гнали, преследовали, сажали по тюрьмам. Они ходили, оглядываясь, скрывались под выдуманными именами, но не отказывались от правды, которую видели яснее, чем многие другие. Именно о таких людях я мечтал. Я всегда был уверен, что они существуют. После собрания Дунаев снова подвел меня к Отцу.

— Помню, знаю о тебе, сынок, мы уже числим тебя в организации, — сказал старик, подняв на меня свои добрые слезящиеся глаза. — Ты познакомил его с уставом? — спросил Дунаева Отец.

— Член партии — это тот, кто выполняет все ее поручения и платит взносы в партийную кассу, — ответил я за Дунаева.

— Давно ты работаешь на фабрике? — спросил Афанасьев.

— Восемь лет.

Мне показалось, что Афанасьев остался доволен моими ответами.

— Читать надо больше, сынок. Серьезные книги. Вы, молодежь, должны быть умнее нас. Мы, можно сказать, ради того и прожили свою жизнь, чтобы вы были разумнее нас, — сказал Отец, глядя на меня в сумерках глубоко запавшими, ласковыми глазами.

Давно готовилась партийная организация Иваново-Вознесенска к проведению всеобщей стачки. Отдельные забастовки по фабрикам вспыхивали часто, но обычно они заканчивались неудачей. Уволив наиболее стойких «смутьянов», взятых на заметку хозяйскими прислужниками, фабриканты кое-кого запугивали, кое-кого сбивали с толку, посулив прибавку «после праздника», «после ярмарки», как у нас говорили: «После дождичка в четверг».

А главное — забастовщики быстро «выдыхались». Ведь рабочие в огромном большинстве не имели ни своего хозяйства, ни больших запасов, жили на всем купном от получки до получки и уже дней за семь до выплаты заработка на фабриках, как у нас называлось — «дачки», затягивали потуже пояса, бегали занимать у соседей полтинник, а нет — так и гривенник. Мы жили на «коротком дыхании», и это знали, этим пользовались фабриканты. Они брали нас измором.

У нас, на фабрике Бакулина, в одном только 1904 году было три забастовки. Все они остались безрезультатными. Это озлобило рабочих. Одни говорили: «Как ни бейся головой о стену — не прошибешь», другие сердито возражали: «Мы замахиваемся на них палочкой, а надо — дубиной». Да, только дружная всеобщая стачка могла сломить хозяев.

Опыт такой стачки был у рабочих Иваново-Вознесенска. В декабре 1897 года слесарь Стасов, у которого я был на обучении, объявил мне с утра: «Сашка, дуй долой, работать сегодня не будем, и долго не будем». Мне было четырнадцать лет. Всего несколько месяцев, как устроился на фабрику и очень гордился этим. Я заколебался и стоял за углом прядильного корпуса, не выхо-

дя за ворота. Мимо меня шумной толпой, веселые, шли домой рабочие. Пожилой незнакомый человек взял меня за плечи: «Паренек, ты чего тут стоишь?» — «Боюсь идти домой, тятя заругает. Он не велел убегать с фабрики до смены». — «Иди домой, не заругает. Он сам сегодня бастует. Все сегодня бастуют». И это было правдой: остановились все фабрики Иваново-Вознесенска.

В тот год упорной стачечной борьбой трудящиеся России добились правительственного указа: рабочий день на фабриках и заводах не должен превышать одиннадцати с половиной часов. Это было крупной победой. И фабриканты встревожились. Они теряли миллионы рублей на том, что не могли заставить каждого из нас работать по четырнадцать, по пятнадцать часов в сутки, как раньше. Иваново-вознесенские фабриканты попробовали сократить количество выходных дней в году, чтобы хоть отчасти вознаградить себя за убытки.

Ответом на это была первая иваново-вознесенская всеобщая стачка. В городе забастовало четырнадцать тысяч человек. Руководил стачкой Иваново-вознесенский рабочий союз, где решающее влияние имели марксисты.

Каждый день, несмотря на трескучие морозы, тысячи людей собирались на площади, около городской управы. Мы, подростки, вертелись тут же, хотя не чувствовали порою ни рук, ни ног. Выступали ораторы без шапок, выдыхая пар, говорили о том, что рабочие — сила и за нами будущее, и речи эти поддерживали полуголодных, перемерзших людей.

Первая всеобщая стачка продолжалась больше двадцати дней и закончилась полной победой рабочих. На долгие годы запомнился нам крупный этот успех. Афанасьев и Балашов, участники первой всеобщей стачки, говорили: «Все дело было в организации, в том, что заранее

онх людей».

В 1905 году у партийной организации стало на фабриках еще больше своих, надежных и верных людей, все-таки со стачкой не торопились. Продуманно, тщательно готовили ее. Отвергли предложение начать стачку в апреле, сразу после пасхи. Люди истратятся, «выдохнутся» и не смогут продержаться долго. Нужен был реальный, точный расчет.

Стачку назначили на 12 мая, после «дачки» на фабриках. 9 мая на партийной конференции утвердили проект единых требований к фабрикантам: восьмичасовой рабочий день, отмену штрафов, ясли для детей рабочих, отпуска работницам по беременности и много других требований. Там же, на партийной конференции в лесу, около села Пановского, было утверждено обращение ко всем паново-вознесенским рабочим: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!.. Нигде не видно просвета в нашей собачьей жизни. Довольно! Час пробил! Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора приняться довести себе лучшую жизнь!..»

12 мая наша бакулинская фабрика прекратила работу первой. Мы пошли по всем предприятиям города останавливать их. Но часто не успевали дойти до фабричных ворот, из них уже высыпали толпы забастовщиков. На площадях, на площади перед земской управой черно стало от людей.

На другой день, тринадцатого мая утром, вышли мы втрое человека, на рассвете в пикет и стали на одном из главных перекрестков — у Большой Дмитровской мажорантуры. Стоим, подрагивая спросонья. Тихо, только сотни грачей начали кричать в роще перед восходом солнца. Взошло солнце, осветило кирпичные стены

Проехали подводы к посадку, пошли-потянулись женщины с корзинками на базар. Никто не шел на фабрики.

И вот видим — тащится старичок с клюкой, с чистым узелком к фабричным воротам, как будто несет гостинiec или приготовился к похоронам.

— Ты куда, дед?

Молчит.

— Куда ты идешь?

— На фабрику.

— Чего тебе там делать?

— Скучно без работы, не привык я...

— Разве ты не знаешь — все бастуют?

— Как не знать!

— Так что же ты?

Молчит.

— Хлеб у тебя, дедушка, есть?

— Есть, — отвечает он и показывает на узелок. Там лежит кусочек хлеба.

— Зачем же ты идешь на фабрику, срываешь стачку своих товарищей?

— Да разве я против людей? Я во грех никого не хочу ввести. Я не почему-нибудь, просто я сирота, у меня никого нет. Скучно дома. Раз вы говорите, я уйду, я не против людей.

— Дай слово, что не пойдешь на работу, пока все не выйдут.

Старик перекрестился на солнышко, и мы его отпустили.

Каждый рабочий человек хорошо понимает, что значит — не выйти на смену, на много дней добровольно отказатьcя от заработка. Для этого нужны и достоинство и дисциплина, и столько уже должно накопиться в человеке, годами, десятилетиями накопиться, чтобы он нашел в себе

лы рискнуть своим местом, обречь на лишения своих  
тей. И вот, представьте себе: тридцать тысяч человек в  
ни прекрасный, весенний день сказали «нет» всесиль-  
им владыкам, перед которыми еще вчера ломали  
апки!

Ошеломленные фабриканты и градоуправители гово-  
ли потом, чтобы как-то объяснить зловещие для них  
обытия: «Народ смутили, развратили». Но, растеряв-  
ись, полиция и охранка не знали даже, где «смутьянов»  
скать и ловить. Тридцать тысяч человек лавиной шли к  
ерегам Талки. Выходили из каждого городского дома,  
ли из окрестных деревень, двигались во всю ширину  
язных улиц, мимо замерших фабричных корпусов.

Ни одно празднество, ни один крестный ход не соби-  
али столько народу. Двигались молча, без оружия, без  
есен,— настороженная толпа, еще сама не ясно пред-  
авлявшая, что получится из ее порыва.

Лишь значительно позже я узнал: Московское област-  
ое бюро большевиков, объединявшее партийные орга-  
низации промышленных губерний, еще в первых числах  
мая, до нашей всеобщей стачки, послало к нам, в Ивано-  
во-Вознесенск, для подпольной работы, в помощь нашей  
партийной организации — Михаила Фрунзе.

Несмотря на молодость свою, Трифонич скоро завое-  
вал авторитет среди наших партийцев, руководителей за-  
бастовки. Он присутствовал на всех партийных собраниях  
и заседаниях Совета уполномоченных и умел всегда  
кстати дать свой продуманный совет.

Он твердо проводил линию Северного комитета боль-  
шевиков, руководившего стачкой. Читал лекции в «ра-  
бочем университете» на Талке, писал прокламации, ре-  
дактировал листовки других пропагандистов в нашей  
подпольной типографии, выпускавшей до трех тысяч ли-  
стонок в день.

## 7. НА БЕРЕГАХ ТАЛКИ

Среди тысяч рабочих, валивших на Талку, были в каждой колонне свои люди, выдвинутые партийной организацией. Они ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день приносили информацию и получали директивы от руководителей забастовки. Тем, кто этого не знал, единство такой огромной массы рабочих казалось чудом.

На отлогих берегах речушки Талки, обозначенной далеко не на всех географических картах, родилось в те дни слово, которое стало известно потом на всех материках земного шара. Тринадцатого мая 1905 года, разбившись на группы по предприятиям, рабочие выбирали своих представителей в Совет уполномоченных, первый в стране Совет рабочих депутатов. Выбрано было больше ста пятидесяти человек.

Таких масс народа, как в те дни, никогда еще раньше никто из нас не наблюдал. Если глядеть на Талку издали, не верилось, что это люди. Казалось, земля странно раскрашена на пространстве нескольких десятин. Подходишь ближе, и шум толпы кажется нечеловеческим, больше похож на гул поезда или работающего цеха.

Тоня, моя сестренка, сказала, придя с отцом, матерью и сестрами на Талку:

— Мама, я не думала, что на свете есть столько людей!

Разбивались на группы, и в иных группах, в задних рядах, еле слышно было оратора. Лишь редкие люди репались в начале забастовки выступать с речами. Считалось, что для этого нужен особый талант, как для того чтобы петь или играть на скрипке. Круг в середине толпы часто оставался без оратора. Передние переговаривались, не выходя из рядов, а задние слушали их, становясь на цыпочки.



Вдруг сотни и тысячи людей начинают тесниться, двигаться, бежать к возвышению. Там Михаил Лакин читает наизусть стихи:

Волга! Волга! Весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народной  
Переполнилась наша земля...

Красивый, молодой, с густыми темными бровями, тонкими усиками и блестящими глазами, Миша Лакин больше был похож на артиста, чем на фабричного. И одевался он, когда шел выступать перед народом, в наглаженный пиджачок с белой рубашкой, повязывая шелковый галстук бабочкой.

Он любил стихи, как любят самого близкого человека. Он был пропитан стихами, поэмы помнил наизусть. И когда он читал Некрасова, люди часто даже не знали, кто автор этих слов. Многие думали, что придумал стихи сам Миша Лакин. А многим, мне в том числе, казалось, что стихи эти возникли сами по себе, подобно цветку или солнечному свету. Не только у женщин и девушек, у пожилых мужчин вызывали слезы выступления Михаила Лакина.

Кончил читать Лакин, и еще бо́льшая толпа вырастает, сбегается со всех сторон — Евлампий Дунаев поднимается на бочку. Дунаев стал в те дни любимым оратором иваново-вознесенских рабочих. Он не говорил непонятных, общих слов. Каждое выступление его было близко жизненному опыту фабричного люда.

— Посмотрите: что у меня в руках? — спрашивал Дунаев, высоко поднимая над головами слушателей две тоненькие, истрепанные книжечки.

Ветер перебирал темные волосы над высоким лбом Дунаева. Его умные, насмешливые глаза загорались.

— Вот эта книжка — расчетная, а эта — заборная. Почитайте по расчетной книжке: мастеру не так отве-

тил — штраф! Пятьдесят копеек! Песенник с собой принес на фабрику в кармане — штраф! Пятьдесят копеек! А вот эта книжечка заборная: керосин — семнадцать копеек, мука — рубль тридцать пять. Веселись душа и тело, вся получка пролетела! Вот так мы и живем: там мастер записал, там в конторе напутали, там надо поклониться кому-то бутылкой водки. Работаем, света белого не видим, а приносим в «дачку» одни полушки. А дети наши — сироты, ползают в пыли при дороге. Все стоит на обмане, весь свет на обмане! Честному человеку нет места в жизни!

А там, за огромным скоплением народа вокруг Дунаева, еще группа, и в центре ее — кучер фабриканта Гарелина, волосатый, нечесаный мужичишко в цилиндре, в жилете с цепочкой и в тиковых кальсонах в красную полосу, вопит, размахивая руками:

— Он вор! И я вор! И вы все воры!

Одни смеются, другие говорят:

— Безобразие! Надо увести его, пусть проспится...

Еще толпа людей, еще и еще, до самого взгорья и березовой рощи. Там семьи сидят и закусывают на прямой траве, там девушки поют хором:

Уж ты, зимушка-зима...

Торговцы подвозят в тележках четверти кваса, обмороженные ватным тряпьем, чтобы квас подольше оставался холодным. Продают семечки, леденцы, всюду в траве целуха от семечек.

Рябит в глазах от красных рубах под жилетами, от ярких сборчатых юбок и платков с цветами. Невозможно считать людей, они двигаются, роятся, переходят от руппы к группе.

Послушают одного оратора и идут дальше, боясь пропустить что-нибудь еще более интересное.

Отца моего совсем завертело в те дни. Он казался растерянным в толпе, точно попал в реку и река его понесла. Встречаешь его на Талке, — откинув голову, он улыбается через очки, как будто не совсем тебя узнает и кивает по сторонам: понимаешь, дескать, Сашка, что началось!

А на лужайке, на изгибе Талки, заседал Совет уполномоченных. Заседали попросту — лежа и сидя на траве.

В Совет приходили прачки, показывали распухшие изъеденные содой руки, жаловались на дурное обращение хозяев, и Совет давал прачкам распоряжение:

— Бастовать!

Владелец типографии просил:

— Разрешите наборщикам и печатникам поработать еще два дня, чтобы закончить срочный заказ на конторские книги.

Он показывал бланки книги депутатам Совета и божился:

— Тут нет ничего направленного против рабочих.

Совет выносил решение:

«В просьбе владельца типографии отказать».

Фабрикант приходил, чуть не плача вымаливал:

— Разрешите только выбрать товар из заварочных котлов! Замоченная ткань начинает гнить.

Над ним подшучивали:

— Ну-ка, попробуй потаскай из котлов сам!

Другие возражали шутникам:

— Зачем пропадать добру? Ткань всем людям пригодится. Наши кровные труды вложены в нее.

Решали: «Послать рабочих заварки на один день в нуть полуфабрикаты из котлов».

Губернатору потребовалось срочно отпечатать бланки для своей канцелярии. Но как заставить типограф

щиков работать? И сам губернатор обратился за разрешением в Совет рабочих депутатов.

Отдельные хозяева подсылали в Совет своих людей, соглашаясь удовлетворить требования бастующих на своей фабрике, лишь бы они немедленно встали на работу. В Совете отвечали:

— Забастовка будет длиться, пока все фабриканты, до последнего, не прекратят сопротивления.

К нам шли письма и денежные переводы со всех концов страны. Для нас собирали средства в Ярославле, в Иркутске, в Москве, в Петербурге, в Швейцарии, в Германии, в Америке.

Полиция нас пока не трогала. Только изредка конные разъезды астраханских казаков маячили вдалеке. Их было в сотни раз меньше, чем нас. Казалось, Иваново-Вознесенск остался в наших руках.

Погасли форсунки, остановились ткацкие станки и веретена, не выезжали подводы из ворот фабрик.словно огромная семья, рассеянная по Рылихам и Завертяхам, собралась на Талке, удивляясь тому, что она может сделать, и впервые увидела, как она велика.

Совет рабочих депутатов создал милицию и сам установил порядок в городе. По улицам ходили рабочие патрули. В дни забастовки прекратились грабежи, азартные игры, кулачные бои и драки, чего веками не могла добиться полиция. Не видно было пьяных.

Крестьяне окрестных деревень, услышав, что в городе возникла новая власть, присылали ходяков в Совет рабочих депутатов с просьбой разрешить вопрос о земле.

Но рабочие, в массе своей, еще были робки. Упивались, как дети, тем, что завоевали, и пока даже не мечтали о новых завоеваниях. Когда в первые дни забастовки

Никодим закончил свою речь возгласом: «Долой самодержавие!» — толпа шарахнулась от него. Многие даже не поняли, что это такое: «Долой самодержавие!» И соседи объяснили им:

— Это значит — долой царя!

Послышались сердитые замечания:

— Мы власть не затрагиваем. Мы боремся только с хозяевами.

У многих рабочих, особенно у стариков, еще жила наивная надежда, что как-то тишком, сторонкой, без столкновения с царским режимом можно успешно бороться с фабрикантами.

— Мы люди маленькие... Мы люди темные...

В бесконечной людской массе на Талке иногда хотелось крикнуть: «Ну что вы стоите, давайте делать скорее что-нибудь!»

Странное сильное чувство испытывал я, видя, как фабриканты появлялись на поляне, просили о чем-нибудь в Совете, не зная, как себя держать, то криво усмехаясь, то опасливо вытаращив глаза. Часами стоял я в пикете на опушке леса, неподалеку от заседавшего Совета, и наблюдал людей, известных мне годами: они уже не так держались, не так ходили, и голоса переменились у них. Неужели это Телепнев Терентий, вон тот, что, расставив ноги, заложив руку за борт пиджака, исподлобья глядит на фабриканта Витова?

Я ходил в рабочих патрулях и пикетах с повязкой на рукаве; мы придумали эти повязки сами. Я горячился и временами с удивлением замечал себя как бы со стороны: ведь это я, Сашка Ершов, останавливаю людей, угоняю их! И многие, может быть, лишь тогда и заметили меня. Мы все будто только-только родились в этот день, впервые поверили по-настоящему, что живем на свете.

Книги я полюбил с детства. У нас в семье часто читали вслух.

Вот, под праздник, убравшись в доме, замесив тесто, перебив всю посуду после ужина, засветив лампаду перед иконой, задернув чистые занавески на двух крохотных оконцах, мать торжественно зажигает керосиновую лампу. Отец надевает очки в тонкой оправе, садится в передний угол под иконы, под вышитое красными петухами полотенце, с довольным, смягчившимся лицом раскрывает новую книгу. Сестры рассаживаются вокруг стола с рукоделием. Мать еще что-то дочищает, прибирает, порывисто двигаясь. Отец ласково говорит ей:

— Хватит тебе суетиться. Садись, мать.

Маленькую Тонию отсылают спать, она ударяется в слезы, и отец говорит:

— Ну ладно, не трогайте ее, пусть послушает.

Он читает, близко придвинувшись к лампе, медленно, почти по складам, и тем прочнее западает в душу каждое слово. Отец будто складывает читаемое из увесистых камней. Но вот уже перестаешь замечать отдельные слова и фразы, раздвигаются, а потом словно совсем исчезают бревенчатые стены, слышишь голоса незнакомых людей, видишь их жизнь иной раз яснее, чем самого себя.

Помню, отец дочитывал рассказ Тургенева «Муму»; и голос его дрогнул. Он прервал чтение, закашлялся и достал из кармана платок. По лицу матери сбегали слезы. Она не стыдилась, не прятала их, возможно, даже не замечала, что плачет.

Но вот я услышал слова, которые взволновали меня больше, чем самые лучшие повести и рассказы. Незадолго до всеобщей стачки Дунаев принес мне несколько прокламаций, чтобы я роздал их надежным людям в це-

хах. На небольших листах тонкой бумаги лиловыми, расплывающимися буквами было напечатано:

«Товарищи рабочие! Неутомимые труженики нашей многострадальной планеты! Все ценное, что существует в мире, создано вашими руками. Вы строите фабрики, заводы, красивые дома, вы ткете ситец, бархат и парчу, вы делаете все — от морских кораблей до иголки, но лишь ничтожные крохи созданного вами, и то словно из милости, приходится вам на долю. Успехи человеческого гения, прогресс промышленности, науки и разума уже сегодня дали бы возможность всем трудящимся жить, не зная нужды и горя. А между тем жизнь каждого из вас, от колыбели до могилы, это цепь непрерывных унижений, нищеты, суровой борьбы за кусок хлеба. Так встаньте же на защиту своих прав! Вы истинные хозяева и соль земли!»

Медленно прочитывал я эти строки, и будто не тоненькие листки бумаги, а языки пламени были в моих руках. Никогда, ни в одной книге я не находил такого сгустка правды! И если столько можно было сказать в крохотной листовке, то ведь должны же быть книги, где открывались бы все начала и концы, тайны жизни. Я искал такие книги. Однажды спросил о них у Дунаева. Он ответил:

— Таких книг много, Саша. Только осилишь ли ты их? Я сам не больно-то разбираюсь в теории. Пойди к Никодиму, он тебе подскажет, с чего начать.

Много дней я нигде не встречал Никодима. Набралшись решимости, отправился к нему домой. Он жил в одноэтажном особняке отца. Перед парадным крыльцом стояла пролетка. На двери была прибита медная пластинка: «Юрий Геннадьевич Шихматов. Прием по внутренним и женским болезням». Я нажал кнопку звонка,

красивая строгая девушка, с косами ниже пояса, отперев дверь, спросила меня:

— Вы к кому?

Я растерялся, начисто забыв подлинное имя Никодима.

— Сын доктора дома? — спросил я отрывисто, почти грубо.

Девушка повернулась, сказав:

— Идите за мной.

Проведя меня через две комнаты, она постучала в третью и, недовольно проговорив: «Гога, к тебе!» — оставила меня в светлом зале, загроможденном статуэтками и мягкой мебелью. В этом доме, так же как и на нашей фабрике, было электрическое освещение. На полу стояла голая бронзовая женщина с крыльями и в высоко поднятой руке держала, как факел, электрическую лампочку с абажуром.

— Саша! — приоткрыв дверь, воскликнул Никодим, обрадовавшись мне как самому лучшему другу. Он затаял меня в кабинет, где по трем стенам тянулись полки с книгами.

Никодим не спрашивал меня, зачем я пришел, казалось, он давно ждал меня. Усадил в кресло и потребовал, чтобы я обязательно выпил кофе и съел хотя бы один пирожок.

— Вот эти — с одним зубчиком — с грибами, а эти — с двумя зубчиками — с вареньем.

Я окончательно смутился под напором этого гостеприимства. И как много книг. Неужели Никодим все это прочитал? Мне не хватило бы всей жизни, чтобы одолеть хотя бы часть такой библиотеки! Я попросил у Никодима какую-нибудь книгу, где было бы прямо сказано, как надо изменить жизнь, чтобы она была построена на справедливости.



Никодим воскликнул:

— Ты молодец! Рабочий должен, обязан ставить перед собой такие вопросы!

Задумавшись перед книжными полками, он вытащил брошюру, широким жестом отдал ее мне и сказал:

— Когда прочтешь, приходи опять. Вся наша библиотека в твоём распоряжении!

Это была брошюра Маркса «К критике политической экономии». Я спрятал ее под пиджак и быстро ушел.

Мне казалось, что я понимаю значение почти каждого слова в этой книге, но на самом деле даже название ее оставалось для меня неясным. Я представлял себе, что такое критика, политика, экономия, но внутренняя связь этих слов от меня ускользала. Надо признаться, что в ту пору даже слово «прогресс» было для меня не совсем понятным. Во всяком случае, я не смог бы по своему произволу его вспомнить, а тем более не решился бы употребить его в разговоре.

Наступили теплые дни весны. Зазеленели деревья, на пригорках подрастала трава. Чтобы не мешали разговоры дома, я уходил с утра с куском хлеба в дровяной сарай, складывал поленья так, чтобы удобнее было сидеть и читал до тех пор, пока не начинала кружиться и болеть голова. Тогда я шел к уличному колодцу, вытягивал бадью студеной воды, выливал на голову и снова возвращался в сарай.

Через несколько дней я принес Никодиму брошюру и он удивился:

— Уже прочитал?

Я ответил:

— Да, прочитал.

— И все тебе было понятно?

— А чего там особенного? Я все это знал раньше! — залихватски ответил я.

— Ну, если так, — воодушевился Никодим, — тогда я тебе дам самую последнюю новинку революционной мысли. Смотри только, если попадешься с ней — тюрьма. Он достал её с полки, а из самого нижнего ящика стола завернутую в газету, захватанную многими руками книгу.

Впервые я взял в руки «Что делать?» Ленина. На другой день, в воскресенье утром, Фрунзе нашел меня в моем сарае. Я еще очень мало знал его тогда и спросил:

— Трифоныч, ты к отцу? Они с матерью огород копают. Я крикну его сейчас...

— Нет, — ответил Фрунзе, как бы слегка смутившись, — я к тебе. Мне сказали, что ты серьезно заинтересовался политической литературой. Может быть, я смогу тебе чем-нибудь помочь?

Мы стояли друг против друга, и при моем тогдашнем самолюбивом и настороженном отношении к образованным людям я хотел дать понять ему так же, как и Никодиму, что мне все ясно, что я и сам с усами и не лыком шит. Но, взглянув в его доверчивые глаза, я не выдержал своего обычного тона и признался:

— Есть непонятные места...

— Например?

— Я уж сейчас не помню. Ну, там... где идут разные незнакомые фамилии...

Фрунзе взял у меня из рук книгу и прочел негромко:

— «Дряблый и шаткий в вопросах теоретических с узким кругозором, ссылающийся на стихийность масс в оправдание своей вялости, более похожий на секретаря средюниона, чем на народного трибуна, не умеющий выдвинуть широкого и смелого плана, который бы внушил уважение и противникам, неопытный и неловкий в своем профессиональном искусстве, — борьбе с политической

полицией,— помилуйте! это — не революционер, а какой-то жалкий кустарь».

Фрунзе поднялся и, держа книгу в обеих руках, окрепшим голосом продолжал:

— «Пусть не обижается на меня за это резкое слово ни один практик, ибо, поскольку речь идет о неподготовленности, я отношу его, прежде всего, к самому себе. Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие всеобъемлющие задачи,— и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!..»

Слушая Трифону́ча, я вдруг как бы увидел человека, написавшего эти взволнованные строки, почувствовал его стремление к правде, его суровую требовательность к себе и другим...

— Это мне понятно,— сказал я.— Но вот Маркса читать очень трудно. Как в непроходимом лесу...

— А как же ты хочешь постичь все это? Без труда? Над каждой мыслью Маркс трудился годами. Он работал с утра до ночи и прочитывал десять книг, чтобы взять из них хотя бы одну ценную крупицу мысли. Он положил всю жизнь, пожертвовал благополучием своей семьи, чтобы создать свое учение, а ты падаешь духом, что не можешь в один день, без всякой подготовки, его понять!..

## 9. СТАНОВЛЮСЬ ОРАТОРОМ

С тех пор Трифону́ч приходил ко мне почти каждый день. Он приносил новые брошюры, нелегальные газеты, и мы беседовали с ним, как два старых товарища. При

всей моей нелюдиности, я скоро почти перестала стесняться его. Почему?

Он умел слушать. Это не было вежливым вниманием к собеседнику, свойственным каждому хорошо воспитанному человеку. Это не было сдержанностью ученого молчаливника, горделиво возвышавшегося над сумбуром безграмотной митинговщины того времени. Лицо Фрунзе было оживленным и простодушным, когда он слушал меня. В глазах пробежали ответы многих горячих, быстро сменявшихся мыслей. Видно было — ему тоже хотелось говорить, высказать себя, но еще важнее было постичь внутренний мир собеседника, разобраться в противоречиях, шатающих каждого, кто впервые приобщается к самостоятельному мышлению.

— Я считаю так: дороже всего для человека самостоятельность, — рассуждал я немного напыщенно, чувствуя себя в чем-то старше и опытнее Трифоныча. — Ты возьми вольную птицу, ласточку. Ничем у нее не загорожена жизнь. Хочет, вьется над полями, хочет, залетит в поднебесье. Посидит на одной ветке, не понравится ей — перемахнет на другую. Вот потому у вольной птицы всегда хорошее настроение, потому она и распевает с утра до вечера! А послушай вон, как теленок жалуется в загородке у соседей. Со дня рождения сидит, как арестант. Так и каждый из нас: рождается и помирает в тесных стенах, не повидав света...

Трифоныч, улыбаясь,<sup>1</sup> молча показал мне на гнездо ласточек под застрехой. В темноте сарая, в недостижимом голке, повитом паутиной, время от времени раздавался шорох. Ласточка высидывала птенцов. Иногда перед раскрытыми дверями сарая, косыми линиями перечеркивая небо, тревожно метался второй обитатель этого гнезда. Он видел нас, боялся нас, — боялся, может быть, не столько за себя, сколько того, что привлечет наше внимание к

саду. Но надо было кормить мать птичьего семейства, успокоить, подбодрить ее, и трепещущая птица с размаху летела в сарай, грудью вперед, навстречу опасности.

— Они смелы и веселы потому, что вся жизнь у них подчинена одной цели,— сказал Трифоныч.

Я рассказал о фабрике, о том, как хлопок в подготовительном отделе прядильной поднимается вверх по жебру. Пушилка держится за пушилку. Вот бы и людям так...

— Саша, тебе надо выступить на Талке,— заявил Трифоныч.

Я даже не понял:

— Как выступить?

— Как Лакин, как Дунаев. С речью.

— Но я не умею,— сказал я, ошеломленный.

— Нет, ты умеешь! Ты хорошо рассказывал сейчас о фабрике. Ведь фабрика это не только угнетение, фабрика дисциплинирует и сближает рабочих. Капиталист основывает фабрику, думая лишь о себе, о своей выгоде, и, сам того не понимая, готовит своих собственных могильщиков. Фабричный труд приучает людей к единству, сплоченности, и в этом сила рабочего класса, и потому рабочие победят во всем мире. Ведь это совсем простая мысль! А если есть мысль, всегда можно ее оформить и развить. Любую мысль!

— Ничего не выйдет! — упорствовал я.

— Но почему?

— Потому что... у меня — плохой характер. Я не умею подойти к людям. Посмотришь на тебя, на Дунаева, на Лакодима — вы как-то умеете приветить человека, вы спросить его, поговорить. А я, с кем бы ни заспорил, сейчас же начинаю лезть в бутылку. У меня нет подхода.

— Ну что за беда, если резкий характер? Ты не равнодушен и это главное. Ты не говоришь людям: ступай!

куда хотите, живите, как птицы небесные, ты ждешь от них чего-то, и разве это плохо? А что в тебе есть иногда ненужная мрачность, это пройдет. Жил замкнуто, складывал все про себя. Вот начнешь выступать, общаться с людьми, и это пройдет!

Посмотри вот эту статью,— сказал он, развернув последний номер газеты «Вперед».— Здесь пишут о том же, что ты рассказывал, только на примере рижских рабочих. А ты приведи и свои примеры. Если у тебя будет складываться слишком длинная речь, ничего, из большого всегда можно сделать маленькое. Карандаш или ручка с чернилами у тебя есть?

— Карандаш найду,— сказал я.

— Я завтра приду, посмотрим вместе, что у тебя получится.

Он попрощался и ушел, как бы не желая больше мешать мне в моем важном деле.

Сбегав домой, я разыскал за иконами огрызок химического карандаша, зачинил его, положил на дрова доску, приладился поудобнее в сарайчике. Оставалось только писать. Но что писать и с чего начинать? Я сидел над тетрадью час, другой. Обдумал всю свою жизнь. От умственного напряжения меня бросило в жар, а еще не было написано ни одного слова.

Наконец написал несколько фраз, и тут же пришлось их зачеркнуть. Но потом, к вечеру, я писал, уже не отрывая карандаша от бумаги. Наступила ночь, а до конца моих мыслей было еще очень далеко. Как быть со светом? В доме не было ни капли керосина.

Я вспомнил, на божнице лежала венчальная свеча родителей, сплетенная из нескольких тонких восковых свечей и украшенная бантом из выцветших лент. Принес

свечу в сарай, укрепил в расщелине березовой колоды, высек огнивом искру на трут из хлопковых нитей, раздул огонь. Пока я все это делал, я словно повзрослел, обогатился новым опытом, и все написанное показалось мне совершенной чепухой. Писать дальше или начинать все сначала?

Наступило утро, тетрадка кончалась, а я все еще писал.

Пришел Трифоныч, и я отдал ему недописанный «конспект». Представляю себе теперь, как Фрунзе смешно было его читать! Я писал тогда, как говорил, а говорил «ривалюция», «шумять». Что касается запятых, то с ними я в ту пору совершенно не знал, что делать.

— Хорошо! — сказал Фрунзе, дочитав мой «конспект». — Немного только длинно.

На оставшемся в тетради листочке, на двух страницах, он мелким почерком изложил и то, что я написал, и то, что я мог бы написать, что вертелось временами в сознании, но как-то не ложилось на бумагу. Конспект в редакции Фрунзе очень понравился мне.

— Ты еще не спал? — спросил Трифоныч.

— Нет, — признался я.

— Тогда ложись — поспи. Выступать надо на свежую голову. К вечеру я зайду за тобой, разбуджу. Если проснешься раньше — перечитай конспект. Не заучивай его наизусть. Просто подумай еще раз.

Я так и сделал. — Лег спать, но проспал едва ли больше часа и проснулся от внутреннего толчка. Может ли это быть? Нет, это ошибка. Ошибка Трифоныча и моя! Зачем я согласился с ним? Ведь меня засмеют на первом же слове. «Кто это? — скажут. — Сашка с бакулинской фабрики? Тоже политик!» Если бы хоть начинать где-нибудь в другом месте, не в своем городе.

Я слонялся по двору, по дому, по сараю, хватался за

тетрадь, еще раз перечитал конспект и вдруг подумал: «Уйти со двора, убежать куда-нибудь так, чтобы Трифонч меня не нашел».

После обеда он пришел за мной, и мы отправились на Талку.

Фрунзе говорил дорогой:

— Если увидишь, что сразу не очень откликнутся, это ничего. Так иногда бывает с людьми, говоришь раз, другой, третий, человек как будто бы не понимает. Вот уже, кажется, все, бесполезно говорить — не поймет. И сам этот человек иной раз решит: «Не пойму никогда!» Но вот он останется один: ночью в постели, за обедом, за работой — и вдруг сразу поймет, да так, словно сам до этого додумался.

Трифонч говорил как будто спокойно, но я видел, он волновался. Даже он волновался, что же сказать обо мне?

Подходя к Талке, я дрожал. Все плыло в моих глазах. Вот сейчас я буду выступать перед народом.

Многие говорят, будто в таких случаях начисто забывают приготовленные фразы. Нет! Я все помнил, но казалось, не хватит физических сил выговорить хотя бы одно слово. Я не решался выйти в круг, говорил из рядов, и мне сразу закричали:

— Громче!

В детстве отец учил меня плавать. Отнес на озеро, в глубокое место, где не двести дна, и бросил. Я отбивался от воды ногами, плечами, головой. Отец кричал: «Плывешь, сынок, плывешь!» — а я даже не мог понять, что он кричит, и решился стать на ноги, только когда руками коснулся дна.

Вот так я чувствовал себя во время моего первого выступления. Меня удивило и обрадовало уже то, что никто не смеялся надо мной. Еще раньше, чем начался одобри-



тельный гул (тогда не знали аплодисментов), я отдал себе отчет — люди меня понимают, им близко то, о чем я говорю. Были сотни знакомых и незнакомых, и вот за несколько минут они превратились в друзей.

Вечером в семье уже знали и обсуждали мое выступление. Ночью я обдумал недостатки своей речи и наметил, что завтра надо будет досказать. Наутро еще больше мыслей пришло на свежую голову.

Захотелось сейчас же, немедленно, как можно больше узнать, все узнать! С того дня я читал по ночам, читал за обедом, и мать сердилась на меня:

— Смотри, не пронеси ложку мимо рта! Ты хоть бы руки-то отмыл, грамотей!

Но руки мои, с глубокими трещинами и сбитыми ногтями, все еще не отмывались до конца.

## 10. ВЫИГРАЛИ ИЛИ ПРОИГРАЛИ?

Вскоре на Талке, на улицах выступали десятки новых агитаторов. В своих воспоминаниях Фрунзе назвал нас «доморощенными ораторами». Он писал для нас тезисы, беседовал с нами и ходил слушать наши речи. Сам он на открытых митингах не выступал. Таково было решение партийной организации; иначе он сразу попал бы в руки полиции.

По утрам депутаты Совета, члены партии, агитаторы собирались в березовой роще, неподалеку от Талки. Там, лежа в траве и отмахиваясь от комаров, мы слушали докладчиков, сидевших на поваленном дереве или на пне.

Где-то вдаль, за стволами берез, маячили наши патрули. Они следили за тем, чтобы случайные люди не проникли на поляну и чтобы не нагрянула внезапно полиция.

С каждым днем росла уверенность в наших возмож-

ностях. «Отцы города», «власть предержавшие» ничего не могли с нами поделать. Они были еще в силах выдвинуть на нас, арестовать, выслать из города, но убить в нас то, что мы поняли, они ведь не были способны.

— Кто узнал бы пятьдесят лет назад о стачке кустарей в каком-нибудь глухом селе? — говорил Фрунзе. — А теперь организации нашей социал-демократической партии разнесли известие об иваново-вознесенской стачке по всей стране, по всему миру. Во всем мире воспрянули духом передовые рабочие, наши единомышленники и друзья. Мы живем в великое время роста международных связей и рабочей солидарности. Человечество становится единой семьей. К нам приезжали на днях делегаты немецких социал-демократов, привезли деньги, собранные на заводах Гамбурга, Бремена, Берлина для поддержки нашей стачки. Братья наши приезжали к нам, хотя мы говорим на разных языках.

С этих, как теперь бы их называли, «семинаров агитаторов» мы несли великие идеи марксизма в массы. Мы все яснее говорили на открытых митингах об отсталости и нищете нашей страны, о пагубной роли самодержавия, опиравшегося на древние предрассудки, на штыки и религиозный дурман.

— Вы подумайте, как глубоко, с какой болью за людей и ненавистью ко всякому обману говорил Маркс о религии: «Дух безвременья, вздох угнетенной твари, дитя бессердечного мира, — религия опиум для народа», — рассказывал нам однажды Фрунзе.

И в тот же день на открытых митингах на Талке зазвучали слова:

— Мы дети бессердечного мира. Только обманом нас держат в рабстве и в нищете!

В дни стачки втрое выросла партийная организация Иваново-Вознесенска. Партийные группы создавались в

окрестных селах. В Иваново-Вознесенске и окрестностях бастовало уже семьдесят тысяч рабочих.

Власти забеспокоились. В полицейских донесениях говорилось: «Надо закрыть университет на Талке».

Губернатор запретил собрания на улицах. Но, несмотря на запрет, тысячи людей продолжали приходить каждый день на Талку.

Полицейстер Кожеловский в конце мая выехал на Талку с отрядом астраханских казаков. До зубов вооруженные казаки приблизились к огромной безоружной толпе. Все, кто был в ней, сели на землю. Драться не хотим, но с места не сдвинемся!

Пьяные казаки начали наезжать на людей. Передние вскочили на ноги. Казаки стали стрелять в воздух, сечь направо и налево нагайками. Все бросились к лесу. Казаки поскакали следом, горяча лошадей, заставляя их топтать упавших. Людей травили, как зайцев, толкали лошадьми, секли, а в руках у бегущих не было даже камней или палок. Лишь когда добирались до железнодорожной насыпи, хватали пригоршни песку и бросали его в лица всадникам и в морды лошадям.

Сотни рабочих были искалечены в тот день.

Вот женщина ведет мужа; на лице у него засохшая кровь, он спотыкается, жена поддерживает его.

Вот несут мальчишку с перебитыми ногами, за ним старуха голосит:

— Убили, батюшки, убили!

Молодежь бросилась на улицы. Валили телеграфные столбы, выбирали камни из мостовой, строили баррикады. Ночью запылали дачи фабрикантов.

На собрания партийной группы Фрунзе, Афанасьев, Балашов, Дунаев говорили:

— Надо во что бы то ни стало прекратить поджоги. Это толкает людей на стихийный бунт, а нам нужны орга-

низованность, сознательность. Не слепо мстить, а бороться с открытыми глазами.

— Но что же делать дальше: собираться на Талке или не собираться? — обсуждали на заседании Совета уполномоченных.

— Вправе ли мы вести людей на верную смерть? Обратимся к владимирскому губернатору, пусть снимет свой запрет. Пусть позволит хотя бы в определенные часы проводить собрания, — предлагали некоторые.

Большинство закричало:

— Не кланяться, а драться! Отстаивать свои права!

— А чем драться? Палками? Голыми руками?

Фрунзе попросил слова, и люди притихли.

С каждым днем вырастал авторитет Трифоныча. Многие еще не знали, что он прислан Московским комитетом партии в помощь нашей партийной организации, что он профессиональный революционер, считали, что это просто молодой студент приехал на каникулы и увлекся нашей борьбой. Но его знания, его уверенность выделяли его среди наших руководителей. И хотя он держался скромно, говорил Афанасьеву и Балашову «вы», в то время как они говорили ему «ты», как очень молодому человеку, люди невольно прислушивались к Трифонычу.

— У вас настоящая власть, какой не было ни у одного царя, ни у одного завоевателя. У вас будущее в руках. А губернатор — это такой же чиновник, как и все, маленький человек, дрожащий за свое теплое местечко, за то, чтобы во «вверенной ему губернии» было тихо. Если его просить, он подумает: «Они слабы, они меня боятся». Надо не просить, а требовать! — убежденно говорил Фрунзе.

— Так он нас и испугался!

— А что ты думаешь? Конечно, они нас боятся. Народ — это сила.

— Сила, а от пагаечки бежим!  
Пока шли эти споры, Трифонич набросал несколько строчек в своей записной книжке.

— Разрешите прочесть?

— Давай читай, что ты там сочинил!

Он прочел проект телеграммы владимирскому губернатору.

«Если не будет отменен запрет на собрания и оставутся безнаказанными виновники побоища на Талке, начнем борьбу на улицах города. Ждем немедленного ответа по телеграфу».

— Складно, дерзко написано!

— А что ж, пошлем. Хуже не будет. Попытка не пытка.

Большинством голосов решили послать эту телеграмму губернатору. Но как-то не очень верилось в успех. И когда губернатор отменил свой приказ, отозвал из Иваново-Вознесенска полицмейстера Кожеловского и полиция и казаки перестали разгонять рабочие митинги — еще больше укрепился авторитет Фрунзе.

Третий месяц длилась всеобщая стачка. Фабриканты терпели огромные убытки. Они рассчитывали заготовить товар для осенней нижегородской ярмарки; стачка срывала все их планы. Эгоистичные, своекорыстные, по самому положению своему враждебные не только нам, но и друг другу, они пытались сначала тайком, поодиночке вступать в переговоры с Советом уполномоченных. Некоторые хозяева фабрик соглашались удовлетворить значительную часть наших требований. «Позвольте начать работы на моей фабрике».

У каждого из них «я» было на переднем плане. Каждый из них бахвалился чем-нибудь перед остальными богачами. Гречин, прежний владелец нашей, бакулинской

фабрики, гордился своим выездом, парой серых в яблоках лошадей; ни у кого больше в городе не было таких лошадей. Маракушев хвастался тем, что у него на фабрике самая высокая в Иваново-Вознесенске труба. Словом, каждый старался чем-то возвыситься над соседом. Но когда стачка пришла к ним, испугавшись, они вспомнили и о своей классовой солидарности. Сговорились и уперлись: ни на какие уступки не идем, ни в какие переговоры не вступаем. Многие уехали из Иваново-Вознесенска в Петербург, в Москву. Они-то могли ждать, им было на чем продержаться!

На семьдесят второй день забастовки Фрунзе на собрании партийной организации сказал:

— Надо прекращать стачку. Люди дошли до крайности. Дети умирают с голоду.

У нас, в Иваново, существовал старинный обычай: класть около уличных колодцев кусок хлеба, или баранку, или луковицу для тех, кто постесняется просить под окнами. К колодцам были прибиты деревянные ящики для милостыни. На рассвете многие забастовщики обшаривали у колодцев эти ящики, но ничего уже в них не находили.

Пока были средства, Совет уполномоченных выдавал по тридцать копеек в сутки на семейного и по десять копеек на холостяка. Однако средства иссякли. Рабочие ели траву, искали в лесу корни, побирались в соседних деревнях. Уныние, упадок духа, озлобление на своих возникали у отсталых людей. Все это видели, но не решались об этом говорить, боялись взять на себя ответственность за прекращение стачки. И многие стали возражать Фрунзе:

- Значит, опять у разбитого корыта.
- Выходит, проиграли.
- Нет, выиграли. Сознание стало другим.
- Что сознание, когда нечего жрать!

Совет уполномоченник принял решение прекратить стачку. Голосовали за это с тяжелым сердцем.

И вот все вышли на работу. Истощенным, ослабевшим работать было особенно трудно. А тут еще лавочники обрадовались, подняли цены. И поползли разговоры по городу:

- Ради чего бастовали? Значит, все было зря?
- Только себе же сделали хуже!
- Каждый год бастуем — и никакого толку!

Наша соседка, мать девяти ребятишек, после стачки, увидев у мужа листовку, вырвала ее, заплакала и закрычала на всю улицу:

— Хватит! Если не жалеешь больше меня и детей, уходи из дома.

Обывательски настроенные рабочие придумали для нас презрительную кличку «политиканы». Всюду по фабрикам, даже по деревням, привилось это словечко.

Лавочники говорили своим покупателям:

— Почему все труднее становится жить? Откуда дороговизна? Мутят политиканы!

## II. НАЧАЛО КРОВАВОЙ БОРЬБЫ

Но толчок мы дали крепкий — начались забастовки по всей стране. Останавливались электростанции, шахты, замерли железные дороги, прекратили работу почта и телеграф. Правительственные учреждения потеряли связь с соседними городами. Остановились и те фабрики, где обманом или запугиванием не позволяли бастовать, — прекратился подвоз сырья.

Царское правительство, растерявшись, выпустило октябрьский манифест. В этой лживой бумажке гарантировались всему населению свобода слова, свобода собра-

ний. Люди поняли: царь струсил подобно нашему губернатору. Нажмешь на них — и они поддаются!

Усталые, запутавшиеся люди, те, что несколько дней назад кричали нам: «Политиканы!» — ходили теперь с веселыми лицами — наша берет!

Однако были и такие, что упрямо повторяли:

— На черта лысого нам эта свобода? Чтобы было больше беспорядка? Хватит, измучились и так!

Мы ходили по улицам с красными бантами, с красными знаменами и пели:

Слезами залит мир безбрежный,  
Вся наша жизнь — тяжелый груз,  
Но день настанет неизбежный,  
Неумолимый, грозный суд...

Городовые стояли навтыжку, хлопая глазами, то ли окаменев от возмущения, то ли выражая почтительность к царскому манифесту. Они и сами, наверное, не сумели бы объяснить, что происходило с ними.

В пасмурный, холодный день, под вечер, собрались мы на митинг около земской управы. Огромная толпа с красными бантами заполнила всю площадь. Митинг открыл Семен Балашов. Он говорил, стоя на бочке, и закончил свою речь словами:

— Манифест — это маневр. Это обман.

Под навесами торговых рядов собирались с царскими портретами лавочники, огородники, мелкие хозяйчики. Балашов показал на них:

— Вот кому свобода!

Вслед за Балашовым поднялся на бочку Афанасьев. Он был болен в те дни. Зябко кутаясь в старенькое, потертое пальто, он сказал с грустью:

— Мы тут говорим о свободе, а наши товарищи — революционеры — сидят в тюрьмах!



— Свободу заключенным! — закричал народ и двинулся к Приказному мосту.

В центральной тюрьме политических не было. Пошли на Ямы. Около церкви Александра Невского с Михайловской улицы выехал отряд казаков, вклинился в ряды и рассеял значительную часть колонны. Те, кто остались, пробирались поодиночке вдоль заборов и домов грязных ямских улиц.

Сумерки сгущались. До Ямской тюрьмы дошло уже немного людей. У ворот тюрьмы гарцевали на конях вооруженные казаки. Они были, как всегда, навеселе. Начальство не жалело для них водки.

— По тюрьме соскучились! — кричали они нам, играя нагайками.

— Братцы, вы ведь тоже русские трудящиеся люди, — пробовали уговаривать их рабочие.

— Мы не голодранцы!

— Товарищи казаки! — воскликнул Афанасьев.

— Волк тебе товарищ, сукин ты сын! Брысь отсюда, бэсяки! — замахнулся шашкой казачий офицер.

Силы были неравные, и пришлось отступить. Сильно поредевшая колонна наша вернулась на Шереметьевскую улицу. Но тут нас ждали черносотенная демонстрация и новый отряд казаков. Облава была организована по всем правилам.

Лавочники с царскими портретами пьяными, силпыми голосами пели «Боже, царя храни». Казаки кинулись на нас с нагайками, с шашками наголо. Пеший от конного не уйдешь! Казаки срубали саблями древки знамен, хлестали нас нагайками, стараясь попасть по головам.

Нагайки, скрученные из тонких кожаных ремешков с проволокой, рассекали одежду и белье, до крови ранили тело.

Семен Балашов крикнул:

— Берегите Отца!

Двое дружинников, таивших оружие под полами пальто, увлекли старика. Совсем небольшой группой в несколько десятков человек мы вышли к Талке, перебрались через нее по слягам, хлюпающим в воде. Уже неподалеку был лес, где можно было скрыться.

Озверевшие черносотенцы гнались за нами по пятам.

— Стреляй! — кричали они. — Стреляй по изменникам отечества и престола!

Пьяные в дым казаки, охранявшие черносотенную банду, стали снимать из-за плеч винтовки.

Что-то в этот миг толкнуло Отца.

— Семен, Трифонич, быстрее уходите к лесу! Берегите людей! — скомандовал он и, опираясь на палку, стал возвращаться к мостику через реку. Дружинники кинулись к Афанасьеву. Он строго приказал им:

— Уходите к лесу!

Казаки и черносотенцы остановились на другом берегу Талки, с интересом глядя на Афанасьева. Он бесстрашно шел к ним. Один. Большой, безоружный старик. Они смотрели на него ошеломленно. И вот эти несколько минут спасли нам жизнь. Мы уже были неподалеку от леса.

Отец перешел реку. Он пытался что-то говорить черносотенцам, но они завопили дикими голосами и бросились на него с дубинами, с револьверами. Фрунзе выхватил револьвер и устремился к реке, но Балашов и дружинники схватили его за руки. На глазах Фрунзе были слезы. Лицо его искажилось.

Когда в глубине леса, в безопасности, люди несколько пришли в себя, Фрунзе сказал негромко:

— Этого мы себе никогда не простим! Безоружные, дали завлечь себя в ловушку. Оставили беззащитным лучшего нашего товарища! Кустари! Жалкие кустари!

В городе начались погромы. Черносотенцы разбили витрину напротив теперешнего Нового театра. Весь склон рыночной Социалистической улицы был засыпан речеп-тами и пузырьками. Погромщики разрушили кузницу в том месте, где теперь цирк, и убили еврея — кузнеца. Уби-ли рабочего, проходившего по улице и не снявшего фу-ряжки перед царским портретом.

Дунаева уже не было на фабрике, после стачки ему пришлось бежать из города. Руководил партийной груп-пой вместо Дунаева слесарь Коломзин из нашего ремонт-но-механического цеха.

Однажды утром я заметил, что Коломзин сильно не в духе, и спросил:

— Что с вами, Константин Иванович?

Он ответил:

— Так что-то, Саша. Тяжело на сердце. Какая-то га-дость готовится на фабрике.

В обеденный перерыв главные ворота закрылись, и около них встал наряд полицейских. Я сказал об этом Константину Ивановичу. Он поручил мне: «Посмотри отперта ли калитка за прядильным корпусом».

Она также оказалась замкнутой. Я взобрался на за-бор — вдоль забора с наружной стороны ездил воору-женные всадники с желтыми лампасами на брюках. Ка-зак!

«Ловушка, — понял я. — Куда теперь? В подвал? В ко-тельную?»

Несколько рабочих встретились во дворе. Иные ша-рахились от меня, а Егор Семенихин, хозяйский наущ-ник, злорадно засмеялся:

— Ага, попались!

Около ткацкой меня остановили шесть пожилых тка-

чей с царским портретом. Их возглавлял мастер Головкин. Он закричал, показывая на портрет:

— Целуй, сукин сын!

Я попытался проскользнуть мимо.

— Ах так, — воскликнул Головкин и схватил меня за рукав. — Бей его, ребята!

Очнулся я к вечеру в больнице для чернорабочих. На улице шумели погромщики и требовали, чтобы их впустили добить нас. Врачи стояли в дверях и уговаривали:

— Здесь нет революционеров. Тут только больные и умирающие люди.

В больнице лежал и Коломзин. Хозяйские прислужники втащили его на четвертый этаж. Константин Иванович отбивался; его сбросили в пролет лестницы. Падая, он схватился за перила на третьем этаже и кое-как удержался. На железных перилах остались кровь и кожа с его ладоней.

Фрунзе написал в те дни обращение к иваново-вознесенским рабочим:

«Товарищи рабочие! Нет, впрочем, не товарищи! После всего происшедшего вы недостойны этого имени».

Он клеймил обывательски настроенных маловерных людей, испугавшихся размаха борьбы, пошедших за черносотенцами, говорил о решительности социал-демократов: «Их били, а они продолжали кричать: «Долой самодержавие!»

Фрунзе закончил листовку так:

«Пусть нас бьют, пусть нас пытаются огнем, пусть по тюрьмам сажают, а мы все будем делать свое дело».

Банда царских холуев, опираясь на поддержку казаков и полиции, бесчинствовала в городе, запугивая тысячи людей. Надо вооружаться! Однако что было у нас, у иваново-вознесенских рабочих, против револьверов, вин-

товок и сабель погромщиков? Палки, обвитые ремешками, с гайками на концах, кинжалы, сделанные из обломков плотницких пил. Можно ли с таким оружием рассчитывать на активную самооборону?

Фрунзе создал военную дружину и организовал подвоз винчестеров и «смит-вессонов». Когда открыли первый чемодан с оружием, оказалось, что почти никто из нас не умеет стрелять. В овраге у Хуторова, за теперешним парком культуры и отдыха, Трифонычу пришлось учить нас не только целиться и заряжать; своими руками он располагал наши пальцы на рукоятках револьверов, показывая, как их держать.

Одно время оружие нам доставляла Оля Генкина. Фрунзе знал ее по Петербургу. Девятнадцатилетняя девушка, бледная, худенькая, с темными косами, уложенными под шляпку, Оля Генкина уже трижды сидела в тюрьмах.

Дочь зубного врача, она училась в Петербурге на Высших женских медицинских курсах. В первый раз за революционную пропаганду ее на три месяца посадили в «Кресты». Отбыв срок заключения, она вышла из тюрьмы и, пошатываясь от головокружения, брела по улице. Офицер, покручивая усики, брякая шпорами, заглянул ей под шляпку:

— Вы утомились, мадемуазель? Разрешите вас проводить?

Она с ненавистью взглянула на него и сквозь зубы ответила:

— Долой самодержавие!

Олю снова посадили в тюрьму. Когда она отбыла второй срок заключения, ей уже невозможно было оставаться в Петербурге: за ней следили. Она уехала в Нижний Новгород, несколько месяцев работала в подполье. Шпи-

ки снова выследили ее. Олю арестовали, посадили в одиночную камеру, мучали ее допросами, уговаривали: «Пожалейте своих стариков родителей, если не жалуете себя».

Когда Оля в третий раз вышла из тюрьмы, она увидела: и в Нижнем Новгороде оставаться больше нельзя. Шпики ходили за ней по пятам. Сбив их со следа, она вскочила на первый попавшийся поезд и без билета, «зайцем», уехала в Москву. Ее соседи по вагону прятали ее от контролеров, загородив корзинами и тюками на третьей полке.

В Московском комитете партии девушку спросили:

— Что вы хотели бы делать?

— Что-нибудь самое трудное. Самое опасное,— ответила Оля.

Ее послали в Иваново-Вознесенск.

Однажды вечером она добрела пешком с вокзала на Ямы, на конспиративную квартиру, насквозь промокшая, и попросила кого-нибудь помочь ей принести тяжелый чемодан с оружием из камеры хранения. Пока совещались, кому пойти, Генкина заснула, сидя за столом.

Решили, что пойдет с ней Князева, хозяйка квартиры: две женщины вызовут меньше подозрений. Генкина спала, положив голову на руки. Жалко было ее тревожить. Ее медлили будить, но через несколько минут она сама проснулась и сказала:

— Пойдемте.

Князева вернулась через час. Пришла одна с пустыми руками и, не отвечая на вопросы, опустилась на лавку.

— Что случилось? — встревожились товарищи.

— Она заплакала.

— Что же случилось? Она не пошла с Генкиной на вокзал и осталась ждать у входа, в тени. Оля долго не появ-

оказался. Вдруг Князева услышала крики в помещении вокзала.

С десятком людей, некоторые в белых фартуках, с воплями, с позабными ругательствами вытащили Генкину из здания вокзала. Она не кричала, она была уже без сознания или мертва.

Все, что могла заметить Князева в слабом привокзальном освещении, — это то, что Генкина была без шляпки, в разорванном платье. Черносотенцы бросили Олю в траву и топтали ногами.

В конце концов и Фрунзе попал в руки казаков. Ночью он шел с массовки через лес фабрикантов Витовца. Казачий разъезд окружил его внезапно. Его схватили, нашли у него револьвер. В полицейском участке его били прикладами, нагайкой, поленом, топтали и пинали, выбили у него несколько зубов. Он терял сознание, его ставили в воду и снова били.

Под конвоем двух городских его отправили в ссылку в Казань. Взяли с него подписку о невыезде. Через друзей своего брата, студентов, Фрунзе быстро разыскал в Казани комитет партии и получил для ивановской организации тую литературу о выборах в Государственную думу.

Пассажирский поезд на Иваново ожидался только к утру. Фрунзе забрался на площадку товарного состава и присел в Иваново раньше, чем успели вернуться конвоиры, отвозившие его в ссылку.

Его партийная кличка — Трифоныч — провалилась, и он выбрал себе новую кличку: Арсений. У него появилась примета, бросающаяся в глаза. До конца жизни он ходил чуть прихрамывая. Иногда этого почти не было заметно, но когда он торопился — хромота усиливалась. Коленная чашечка при быстрой ходьбе смещалась, и он рукой ставил ее на место.

## 12. АРСЕНИИ

Среди всеобщей приниженности, робости мысли, боязни ухудшить свой и без того рабский и нищенский удел такие люди, как Афанасьев, Фрунзе, Оля Генкина, стали маяками, свет которых был виден издалека. Масса слово впервые нашла и утвердила себя в этих людях и повела в свое достоинство. И как бы скромны ни были подвиги этих людей, сколь коротка ни была их жизнь, память о них уже невозможно было вытравить из сознания народа.

Партийный комитет решил, что Фрунзе больше нельзя оставаться в Иваново-Вознесенске. Все агенты тайной полиции знали теперь его приметы. Его фотографии в лоб и в профиль были подшиты к протоколам допросов, простемпелеваны фиолетовыми печатями. Шпики за несколько кварталов заметили бы Фрунзе по его прихрамывающей походке.

Начались стачки и рабочие волнения в Шуе; царское правительство стягивало туда войска. Партия направила в Шую Фрунзе.

До приезда Арсения рабочие Шуи ковали пики для борьбы с полицией и казаками. Фрунзе организовал в Шуе производство патронов и бомб.

В химической лаборатории одной из фабрик рабочие тайком делали порох, в лаборатории при земской больнице испытывали его взрывчатую силу. В маленькой секретной мастерской нарезались из газовых труб оболочки для бомб и на токарном станке вытачивались втулки к ним. Затем оболочки стали отливать на литейном заводе. Капсулы для бомб изготовлялись в центре города, в часовой мастерской, под вывеской «Поставщик двора его императорского величества Павел Буре».



Рабочим-умельцам Шуй пришлось немало подумать над расчетами — какой длины должен быть бикфордов шнур, чтобы бомба взрывалась через пять секунд после броска. Когда за городом швырнули первую бомбу в казачий разъезд, она разорвалась со странным, прерывистым грохотом и от нее поднялся густой черный дым. Казаки, прискакав в город, доложили, что дружинники закидали их привезенными из-за границы бомбами.

Первые пули, сделанные в Шуе, были неправильно зацентрированы и летели кувырком. В одной из стачек такая пуля плашмя попала в голову казака, и у него треснул череп. В Петербург полетели тревожные донесения: дружинники стреляют разрывными пулями.

Постепенно совершенствуя отделку, шуйские слесари добились правильного полета пуль. Патронов уже делалось так много, что хватало и Шуе и Иваново-Вознесенску.

В конце октября, по поручению нашей боевой дружины, я приехал в Шую за транспортом оружия и после двухмесячной разлуки снова увидел Фрунзе.

Он сильно изменился. Похудел, щеки его ввалились, веки покраснели от многих бессонных ночей. Однако он казался более спокойным и более уверенным в себе. Он как будто вырос и возмужал. Но едва увидел меня, на лице его появилось знакомое мне детское выражение радости и доброты.

— Как вы там теперь, Саша? Как здоровье Ивана Николаевича, Клавдии Матвеевны? А Тоня ходит в школу?

Он забрасывал меня вопросами, интересовался всем, но когда я стал рассказывать ему, что делается сейчас у нас на фабриках, о настроении людей, — по некоторым его вопросам и замечаниям понял, что он знает об Иваново-Вознесенске не меньше, а больше, чем я.

Арсений жил в Шуге в Заречье в доме Екатерины Ивановны Закорюкиной, спал на сундуке, приходил в дом и уходил из него задом, через огороды. Это была все та же бездомная, беспокойная жизнь подпольщика, за которым днем и ночью охотилась полиция. Хозяйка, пожилая ткачиха, знала, что многим рискует, давая приют Арсению, допуская сходки в своем сарае. Но она шла на этот риск.

В доме было чисто, пахло опарой, душистой геранью и творогом. Раздавался голосок Ньюши — трехлетней внучки хозяйки, тикали ходики, скрипел сверчок.

Вместе с Фрунзе жил в доме Закорюкиной молодой шуйский слесарь Павел Гусев. Во время нашей беседы с Арсением Павел пришел с работы, умылся у крылечка и закричал веселым голосом:

— Екатерина Ивановна, есть хочу, умираю!

Мы сели за стол. Не дожидаясь щей, Павел взял кусок хлеба, круто посолил его и стал с аппетитом есть. У Павла Гусева было смышенное, веселое лицо. Он очень понравился мне, но втайне я позавидовал ему: он живет с Арсением в одном доме, видится с ним каждый день.

— А где Ньюша? — вдруг спросил Фрунзе.

— Да полно, Арсений, неужто она тебе еще не надоела? — сказала Екатерина Ивановна.

Но он вышел из-за стола и отправился разыскивать Ньюшу.

Через минуту крохотная девочка вбежала в комнату с хохотом и спряталась под кровать.

— Ньюша сюда не приходила? — улыбаясь нам и подмигивая, спросил Фрунзе.

— Меня нет! — крикнула она из-под кровати, и мы все засмеялись.

— Ах ты, грех ты мой тяжкий! Ну хорошо, сиди там, а мы будем без тебя обедать, — сказал Арсений. Он снова

сел за стол. И минуты не прошло, как девочка вылезла из-под кровати и взобралась на колени к Арсению.

— Мама, где моя ложка? — потребовала она, смело поглядывая на нас своими сияющими глазенками. Она ела с Арсением из одной тарелки и, видимо, была совершенно счастлива.

Вечером в доме собрались партийные агитаторы, дружинники. Законы конспирации соблюдались тогда еще особенно строго. Заговорившись, человек пять остались ночевать. Устроились где попало — на полатах, на полу. Но долго не могли уснуть. В темноте, когда уже привернули лампу, разгорелся глубоко взволновавший меня разговор.

— Свалим царя, а что будет дальше? — спросил молодой дружинник.

— Потом свергнем власть буржуазии.

— А дальше?

— А дальше не будет нужды, безработицы, все сделаются образованными, будем жить в красивых городах, летать на аэропланах, ездить в гости к рабочим в дальние страны...

— А потом?

— Этому разговору не будет конца, — засмеялся Павел Гусев. — Это — как о происхождении человека. От кого он произошел? От обезьяны. А обезьяна от кого? От ящерицы. А ящерица от кого? Пусть люди станут свободными от заботы о куске хлеба, они сами придумают, что делать дальше.

— Я считаю так, — сказал голос с полатей. — В конце концов все люди на земле будут дружными, как мы сейчас.

— Правильно! Вот это правильно! — поддержали его. Больше мне в Шуге побывать не удалось, но мы, ивановцы, много знали о работе Арсения. От нас часто ездят

ли в Шую то за патронами, то за литературой. Мы ревниво следили за Фрунзе, мы считали его своим. Мать несколько раз спрашивала меня с беспокойством: «А куда девался Трифоныч? С ним, часом, не случилось ли чего? Он живой?» — «Живой, живой, мать, — отшучивался я. — Получил наследство, переехал в Петербург, живет в своем собственном двухэтажном доме!» — «Ну тебя, полно болтать-то, пустомеля», — сердилась мать. Даже она понимала: не такой человек Трифоныч, чтобы свернуть со своего нелегкого пути.

Однажды эсеры в Шую пригласили большевиков на публичный диспут по аграрному вопросу. Собралось человек триста местных интеллигентов. Хорошо одетая публика: адвокаты, врачи, гимназисты старших классов. В первом ряду сидел пристав в белых перчатках. Докладчик от эсеров, сутулый человек, в очках с толстыми стеклами, стоял за кафедрой, разложив перед собой книги с закладками, тезисы, выписки на отдельных листках.

С первых фраз он привлек сочувствие аудитории своей ученостью, своими спокойными манерами. Глядя прямо на пристава, докладчик критиковал помещичье землевладение.

Всем было понятно, о чем он говорил, и вместе с тем речь была составлена из мягких, вежливых фраз. Пристав только возился, оглядывался на улыбающуюся оживленную публику и ни к чему не мог придаться.

Докладчик стал критиковать учение Маркса о земельной ренте, ссылаясь на только что вышедшую, еще не переведенную на русский язык книгу Давида «Социализм и аграрный вопрос», читал из нее выдержки, высоко поднимал ее двумя руками, как бы благословляя пристава. Публика посмеивалась.

Небольшой группой рабочие сидели в задних рядах в зале с колоннами, побаиваясь за Фрунзе, выдвинутого

оппонентом от большевиков, чувствуя себя неловко, как в церкви.

Фрунзе сидел задумчиво, изучая лицо оратора. Потом попросил слова и стал говорить с места, тихо, как бы слегка смущаясь. В руках у него не было ни одной бу-мажки.

Он цитировал наизусть Маркса. Затем стал приводить на память длинные выдержки из книги Давида. Докладчик, сидевший у кафедры, смотрел на Фрунзе не отрыва-ясь, и улыбка самодовольства, сиявшая не только на ли-це докладчика, но, казалось, и на отворотах его сюртука, постепенно гасла.

Наконец ученый эсер покраснел и сказал Фрунзе:

— Вы неправильно поняли Давида!

— Будьте добры, передайте мне вашу книгу, — попро-сил Фрунзе.

Докладчик подал книгу Давида, и по рукам, по ря-дам ее передали Фрунзе, с интересом ожидая, что будет дальше.

— Здесь вы исказили цитату, оборвали ее на середи-не фразы, — сказал Фрунзе. — А здесь вы неточно пере-вели.

Он читал отрывки из книги Давида, на ходу переводя их с немецкого на русский.

Публика сидела теперь, повернувшись спиной к до-кладчику. О нем забыли. Вот Фрунзе произнес — «Ле-нин».

— Это Арсений! — громко сказал кто-то в зале.

Пристав, снимая и надевая перчатку, встал со своего места. Но тут не только рабочие, но и гимназисты, врачи, нарядные женщины вскочили со своих мест и преградили ему дорогу. Фрунзе вышел из зала, не прибавляя шага. Что кричал пристав, в общем шуме трудно было разобрать.

В шуйской партийной организации, в боевых дружинах благодаря Арсению больше, чем где бы то ни было, чувствовался своеобразный дух того времени.

Иногда после сходки в каком-нибудь доме многие оставались ночевать, особенно осенью, на окраинах, где ветрено, темно и непролазная грязь. Девушки и молодые люди спали на полу, чуть не вповалку. И никогда не случалось недоразумений, не было скользких шуток, нескромных приставаний. Тон был дружеский, уважительный.

Не поймите превратно — это были не аскеты! Простые, веселые, здоровые ребята, в обычной жизни они любили и выпить, и погулять, и поухаживать за девушками; в обычной жизни могли и выкинуть из удалства какой-нибудь фортель. Но ведь тут были не будни, каждый мерил себя не обычной меркой, тут были партия, подготовка к боям, великое будущее! И если бы в этой обстановке кто-нибудь допустил непристойность, его выгнали бы, как чуждого здесь человека.

В декабре 1905 года с лучшими дружинниками Шуи Фрунзе выехал в помощь московскому вооруженному восстанию. Отбирая людей для этой поездки, он решил не брать с собой дружинника, который славился своим бесстрашием. И когда тот обиделся: «Почему?» — Арсений ответил:

— Товарищи тебя видели пьяным.

Дружинник стал клясться:

— Это не повторится никогда! Тем более в Москве!

Фрунзе подумал и сказал:

— Нет, сейчас мы тебя все-таки не возьмем.

Дружинник заплакал. В буквальном смысле слова заплакал, со слезами, и на собрании раздались голоса:

— Может быть, парень исправится?

— Я верю, что он исправится, — сказал Фрунзе. —

И вот когда он исправится и докажет нам это, он будет участвовать с нами во всех решающих боях.

Прошел слух, что в донских казачьих частях в Шуе есть колеблющиеся люди. Фрунзе решил: лучше всего пойти к казакам ему самому. Его отговаривали, предостерегали, уирашивали не ходить, никто не верил в успех.

Надо представить себе обстановку того времени. В казачьи части отбирали особо проверенных, зажиточных станичников, отцы и деды которых доказали свою преданность «престолу и отечеству».

У каждого из нас до сих пор остались рубцы от нагаек. Само слово «казаки» звучало для нас тревожно, как «пожар».

Но Арсений решил:

— Я пойду!

Он установил связь с казаками и созвал их сходку на самой дальней окраине Шуи, на еврейском кладбище. Наши следили за казаками, увидели, что они пробираются на кладбище поодиночке, стараясь быть незамеченными, и это слегка успокоило шуйских товарищей. Но на всякий случай несколько дружинников с бомбами и револьверами дежурили неподалеку от кладбища, прислушиваясь к каждому шороху.

Арсений вернулся с кладбища веселый, взбудораженный. «Чудесные ребята!» — сказал он о своих новых друзьях. Продолжая работать с казаками, он привлек на нашу сторону не только многих рядовых, но и сотника Воротынцева. Несколько раз Воротынцев предупреждал партийную группу о секретных приказах полиции. Казачья сотня под командой Воротынцева, по просьбе рабочих, избила и разогнала черносотенную демонстрацию в Шуе. Власти спохватились и вывели всю сотню из города.

Когда Фрунзе убеждал кого-нибудь, он словно брал

за руку и вел за собой. Даже людям, далеким от политики, начинало казаться, что многое, связывающее их,— и годы устойчивых привычек, и страхи,— все пустяки, а единственное, обязательное и нужное — это то, что говорит Арсений. Он внушал безусловное доверие к себе.

Весной 1906 года он обещал одному шуйскому дружиннику книгу Бебеля «Женщина и социализм». Ни в Шуе, ни в Иваново-Вознесенске ее нельзя было достать.

В апреле Фрунзе поехал делегатом на Четвертый съезд партии в Стокгольм. Он ездил больше месяца, ему приходилось убегать от слежки, спрыгивать на ходу с поездов, дважды нелегально переходить границу. Морское путешествие в Швецию, разнообразные заграничные впечатления, наконец, самый съезд, где впервые в жизни Фрунзе увидел Ленина. Этот месяц в его жизни был заполнен множеством ярких событий. Однако, вернувшись в Шую, Арсений вместе с тюком нелегальной литературы привез и брошюру Бебеля «Женщина и социализм». Он не забыл о своем обещании.

Фрунзе вел работу одновременно в Шуе, в Кохме, в Тейкове, в Родниках, жил от поезда до поезда, ходил пешком по тридцать и по сорок верст в день, ночевал в подвалах, в сараях, на сеновалах, иногда, спасаясь от полиции, убегал через окна и задние дворы, но если он обещал приехать или прийти, можно было смело назначать собрание. Обычно первым, кого встречали рабочие, собираясь в лесу, был Арсений, сидевший с книжкой на траве.

### 13. АРЕСТ ФРУНЗЕ

Он был известен в окрестностях Шуи повсюду. До сих пор еще в Майдакове, в Парском, в Дунилове, в Васильевском живы старики крестьяне, которые помнят Арсе-



ния. Помнят, как он беседовал с ними, составлял им прошения, собирал их на сходки в лесах. Они расскажут, как запрягали лошадей, прятали в телегу Арсения, навали сверху сено и ехали в Шую через деревни, битком набитые казаками и стражниками, искавшими окружного агитатора.

Можно многое рассказать о том, как Арсений перехитрял и одурачивал полицейских, как они входили в одну дверь, а он выходил в другую — с палкой и корзиной, загримированный стариком. О том, как он выдумал разбросать листовки во время крестного хода и поставил в дурацкое положение исправника: ведь было бы скандалом обыскивать или разгонять тысячную процессию верующих; оставалось только осторожно хватать отдельных рабочих, в то время как остальные, наклоняясь мимоходом, поднимали листовки с земли. О том, как в ясный день, после снегопада, казаки, узнав от провокатора о массовке в лесу, поскакали в указанном направлении и вернулись ни с чем, не найдя следов на снегу. А не нашли их потому, что сотни рабочих прошли к лесу по сугробам, ступая в один след, проложенный Арсением.

В дни выборов в Государственную думу Шуйскому окружному комитету партии потребовалось отпечатать несколько тысяч листовок. Задача эта оказалась непосильной для подпольных типографий.

Фрунзе решил захватить типографию Лимонова. Она стояла в центре Шуи, на главной площади. Двухэтажный дом с широкими стеклами. Перед окнами нижнего этажа останавливались зеваки полюбоваться, как работают плоскопечатные машины.

Под окнами толкалась приезжая публика с базара. Прямо против типографии был расположен полицейский пост. Захватить среди бела дня это здание, набрать, от

печатать и вывезти листочки, оставшиеся незамеченными, без шума, без стрельбы казалось невозможным.

Фрунзе поручил одному из рабочих типографии зарисовать расположение лестниц черного хода, входов, коридоров, выяснить, сколько в типографии телефонных аппаратов и где они расположены. Изучив пришедший ему план и на конспиративной квартире рассказал каждому из дружинников, кому и в каком месте стать и как себя вести при всех возможных случайностях.

В пять часов вечера несколько человек, обычно одетых, ничем не обращающих на себя внимания, поодиночке, с разных сторон площади, собрались на лестнице типографии, надели маски, вынули оружие и по сигналу Фрунзе разошлись каждый на свое место.

Двое опустили шторы на окнах и включили свет. Один стал у черного хода, другой у телефонного аппарата. Арсений и Павел Гусев прошли в наборную. Два дружинника на главной лестнице задерживали всех посетителей типографии, отводили их в контору и сажали под охрану. В конторе сидели Лимонов, его жена, счетоводы, заказчики.

Уже больше часа, как набиралась и печаталась листовка, а городской стоял на площади, ничего не подозревая, и охранял типографию. Печатные машины, как всегда, ровно шумели за задернутыми шторами.

Полицейского встревожила лошадь. Возчик оставил ее на площади около тумбы и зашел в типографию получить заказ. Дружинники арестовали возчика и держали его в конторе. Непривязанная лошадь стала беспокоиться, дергаться, забралась на тротуар.

Полицейский направился в типографию, чтобы распушить возчика за беспорядок. Едва полицейский вошел, с него сняли шашку, револьвер и скомаандовали: «Ложись!» Дружинники говорили потом, что он лежал очень смиренно.

Да и всех арестованных напугала тишина, спокойствие, вежливость «налетчиков». Жена Лимонова несколько раз принималась плакать, просила сохранить ей жизнь, предлагала дружинникам деньги. Ей отвечали:

— Нам разговаривать запрещено.  
Когда дружинники вынесли отпечатанные листовки и собрались уходить, один из них, по поручению Фрунзе, предупредил сидевших в конторе:

— Прошу в течение пятнадцати минут после нашего ухода не показываться на улицу и по телефону не звонить.

Более получаса в конторе никто не двигался с места и не брался за телефон, провода от которого, впрочем, были еще за несколько минут до налета предусмотрительно перерезаны дружинниками.

Семнадцать месяцев полиция безуспешно охотилась за Арсением. И это не в многолюдном столичном городе, а в Шуе, в Кохме, в Юже, в Родниках, в маленьких поселках, где за версту замечают каждого человека, где все знают, кто к кому приходит в гости, у кого что стирают и готовят к обеду!

И вот однажды возвращаюсь я с утренней смены и вижу: мать сидит и плачет.

— Что с тобой?

Она ответила:

— Трифоныча взяли в Шуе!

Я даже не спросил ее, откуда она это узнала, не усомнился, сразу повернулся и пошел.

В Шую после обеда не было никаких поездов.

Я догнал по дороге многих товарищей. Мы обсуждали: что же теперь делать? И все сошлись на одном мнении — захватить тюрьму. Почти все мы шли с каким-нибудь оружием. До Шуи тридцать пять километров, но мы были там еще засветло.

Едва в Шуе узнали об аресте Арсения — остановились фабрики, рабочие бросили работу и стали собираться у тюрьмы. Сотни людей стекались из окрестных деревень и поселков.

Мне рассказывала беспартийная молодая работница: к ней собрались подруги, и вот входит соседка и говорит: — Арсений арестован!

И как были, в ситцевых платьях, накрыв только шалями плечи, девушки кинулись к тюрьме, не по дорогам, в обход, а напрямик, по сугробам.

— Палачи! — кричали работницы перед тюрьмой. — Проклятые палачи!

Площадь не вмещала всех, люди теснились на соседних улицах. Вдоль тюремных стен были цепью расставлены солдаты, с винтовками наперевес. Спинам к штыкам выступали ораторы, призывали взять тюрьму приступом.

Перепуганная администрация тюрьмы уговаривала народ:

— Арсений содержится в самых лучших условиях. Его никуда не вывезут. Суд будет в Шуе.

Но люди напирала на охрану. Март месяц, на улицах лежал снег, а с солдат катился пот.

И вот обрадованный начальник тюрьмы выбегает с запиской:

— Арсений сам советует обойтись без ненужного кровопролития.

Я держал уже помятую записку в своих руках. Она не была поддельной.

Округлый почерк Фрунзе. И мы поняли то, что было ясно ему: живым его все равно не отдадут. Едва мы начнем ломать ворота, его застрелят. И все-таки до позднего вечера мы простояли перед тюрьмой. Мы продолжали стоять с надеждой, что хоть на секунду, хоть через решетку в последний раз увидим его.

Но Арсения даже не было в этом корпусе. Его спешно перевезли в другое отделение тюрьмы. Наутро под конвоем роты солдат и двух сотен казаков его провезли на вокзал и специальным поездом отправили во Владимир. Пожилые люди, видя, как его везут по улицам Шуи, плакали.

#### 14. В ТЮРЬМЕ

Я снова встретился с Арсением через два года, в зале суда. Фрунзе вынесли смертный приговор. Он сидел в камере смертников. Вместе с нами его привлекали к суду вторично. Его ввели в зал суда, сильно похудевшего, с провалами на щеках, в арестантском костюме. Едва он появился, началось движение на скамьях подсудимых.

Нас было сорок три человека. Мы не слушали чтения обвинительного акта. Шепот шел по нашим рядам. Председатель суда несколько раз звонил в колокольчик и грозил развести нас по камерам.

Быстрым шепотом мы рассказывали Арсению о предъявленных нам обвинениях, быстрым шепотом он давал советы, как держаться на суде. Он спросил:

— Что слышно с воли? Что вы успели сделать?

Мы ответили:

— Почти все арестованы вслед за тобой.

— Чем занимаетесь в тюрьме?

— Чем можно заниматься в тюрьме? — сказал кто-то.

— Учиться!

Тот же голос произнес:

— Чего учиться, если все равно повесят?

— Зачем так думать и так говорить? — возмутился Фрунзе. — Ведь это и в обычное время можно рассуж-

дать: к чему нам делать что-то, куда-то стремиться, если все равно порем? Как только человек скажет себе: «Я пропал!» — в ту же минуту он пропал. А если сказал себе: «Я буду жить!» — будет жить! И после нашей смерти ведь не кончится жизнь на земле! Всех не перевешают, не загонят по тюрьмам.

На этом процессе Фрунзе вторично приговорили к смертной казни через повешение.

Допросы, расследования, дополнительное судопроизводство по делу иваново-вознесенской и шуйской подпольных большевистских организаций заняли несколько лет.

Когда нас наконец приговорили, был снят закон о чрезвычайном положении, и двадцати «петельщикам», в том числе и Фрунзе, заменили «вешалку» разными сроками каторги. Я знал, что Арсений, как и я, отбывает срок во Владимирской каторжной тюрьме, но в течение года ни разу с ним не встречался.

Сейчас восемь лет тюрьмы кажутся мне вырванными из жизни. Если бы не тетрадки, где я конспектировал прочитанные книги, я мог бы теперь сомневаться — были ли эти годы, действительно ли я прожил их? Месяц проходил, как один час, но каждый день длился очень долго.

Неприятно было чувствовать, что физически слабеешь, гаснешь с каждой минутой. Многие умерли в тюрьме от туберкулеза, многие лишились зубов от цинги.

И сейчас иногда снится звук второго замка, на который запирались камеры вечером. И звук кандалов — звенья их пересыпались, едва сосед перевернется с бока на бок. И резкий крик в коридорах: «Шапки долой!»

Когда мимо нас проходило тюремное начальство, мы должны были вытягиваться во фронт и сдергивать свои шапки-бескозырки. Команда: «Шапки надеть!» — давалась лишь тогда, когда начальство скрывалось из виду.

И этот суровый режим и арестантские черные куртки с желтыми полосами — все было рассчитано на то, чтобы пригнуть к земле, растоптать наше человеческое достоинство.

Немало дополнительных огорчений причиняли иногда соседи по камере. Со мной сидели два анархиста, люди с образованием, но они как будто забыли все, чему их учили с детства. У них ни до чего не доходили руки, они ничем не могли заняться, даже плетением цепочек из конского волоса, даже лепкой шахмат из хлеба, и считали унижением подметать за собой.

Первое время они поверяли друг другу свои сердечные тайны, хвастались успехами у женщин. Потом начали спорить, раздражаясь, потом поссорились, целыми днями не говорили друг с другом, не встречались взглядами. Перегородили столик ниткой: «Это моя половина, это твоя, и не лезь ко мне, не ставь свою кружку и ничего не клади на моей половине!»

Единственным отдыхом от них была работа в слесарной мастерской.

Дошло до того, что один из них подал заявление тюремному начальству с просьбой перевести его в другую камеру — подальше от бывшего друга. Его перевели, он собрал свои вещи и ушел, не попрощавшись с нами. А через два часа в камеру ввели Фрунзе. При свете ночника я проснулся и спросил:

— Трифоныч?

Он отозвался:

— Тимофей? («Тимофей» была моя партийная кличка.)

Он положил вещи на табурет и сел на мою койку. Шепотом мы проговорили до рассвета. Я боялся, что его скоро заберут, переведут куда-нибудь и я снова останусь один. К утру я сказал ему:

-- Ты бы лег.

Он покачал головой. И опять мы продолжали говорить, пока началась побудка и загремели замки по камерам.

У меня была потребность пожаловаться ему, рассказать о разочарованиях, какие пришлось пережить в тюрьме. Я стал говорить о Никодиме.

Никодим хорошо держался на первых допросах. Нас было двадцать восемь человек в камере следственной тюрьмы, и мы все хохотали, когда, вернувшись с допроса, Никодим изображал в лицах, как следователь ставил дурацкие, неуклюжие вопросы и как он следователю отвечал.

Но чем дальше шло следствие, тем больше Никодим стал обмякать, скучать и задумываться, а это уже плохой признак, если подследственный слишком задумывается.

Мы сидели в верхнем этаже тюремного корпуса. Через стену ограды был виден угол уличного квартала вдали. Многие из нас, глядя на этот кусочек улицы, мечтали — как хорошо было бы, если бы наши матери, жены, сестры, приехавшие во Владимир с напрасной надеждой на передачи и свидания, догадались прийти к этому углу. Они смогли бы тайком от тюремного начальства увидеть нас.

И вот однажды один из заключенных увидел свою жену и вскрикнул приглушенно, чтобы не услышал часовой. Была какая-то нотка в его восклицании, заставившая всех нас подняться с мест. Не знаю, услышала ли его жена или женское чутье помогло, но она оглянулась и увидела мужа.

Это было очень далекое расстояние, я думаю — четверть километра. Не сразу можно было различить, улыбается или плачет женщина, озираясь по сторонам. Вид-



но было только, как, несмотря на страх и осторожность, ей трудно уйти с этого места.

Все женщины в тот же день стали приходить на угол в надежде увидеть «своего». И мы с утра до вечера расхаживали по камере, посматривая, не покажется ли «своя».

Вот появилась жена Никодима. Тут уже ясно было видно — она плакала. Всего несколько месяцев, как они поженились. Никодим прилип к решетке, лицом уткнулся в нее, обеими руками вцепился в прутья. Мы стали уговаривать его шепотом, чтобы он отошел от окна. Коридорный мог увидеть его в глазок, и тогда провалилось бы все: начальство нарастило бы тюремную стену или поставило бы караул, чтобы отгонять от угла женщин, или соорудило бы козырек на окне.

Никодим не мог оторваться от решетки. Мы не видели его лица, но даже шея у него покраснела. Он шептал, бормотал отдельные слова, хотя даже если бы он и говорил громко — жена его не смогла бы на таком расстоянии услышать.

С этого момента он окончательно затосковал и ходил по камере с таким видом, словно боялся что-нибудь упустить, словно ему нужно было схватить какую-то убегающую возможность и поскорее, хоть на минутку, выйти из тюрьмы.

Против него было мало улик, адвокат уверял, что он отделается двумя-тремя годами крепости. Но Никодим задумывался все чаще, и вот что-то новое появилось в его настроениях. Однажды он заявил:

— А все-таки не совсем верным путем мы шли! Много было мальчишеского недомыслия. Пожалуй, прав Плеханов — не следовало браться за оружие. Мы преувеличили свои возможности, — говорил Никодим, и было противно видеть, как он приспособливает свои убеждения к своему малодушию.

Я разволновался, рассказывая об этом Фрунзе. Он ответил довольно спокойно:

— Никодим слабый человек, случайный человек в нашем движении. Знаток таких людей, философ Шопенгауер писал: «Неправильно говорят: «Я еду любоваться Парижем», будет искренне сказать: «Я еду любоваться собой в Париже!» Никодим из тех, кто идет любоваться собой в революции.

Я рассказал о соседе по камере, о другом соседе, которого только что перевели.

— Плохо, что ты очутился с чужими людьми. А я все время был с Павлом.— И Арсений стал рассказывать о Гусеве, как много тот прочел в тюрьме.— Он может хоть сейчас сдавать экзамен на аттестат зрелости.

Он пишет хороший рассказ,— продолжал Фрунзе и передал содержание рассказа «Расчет» с такими подробностями, словно сам его написал. Через двадцать лет я прочел этот рассказ в альманахе ивановских писателей и не нашел ни одной существенной детали, какая не была бы мне памятна со слов Арсения.

— Знаешь, что особенно ценно у Павла? — воодушевился Фрунзе.— Он все переживает вместе с мальчиком, которого описывает. Ходит по камере, смотрит в одну точку, шепчет, шевелит пальцами и раз по десять переделывает одну фразу. Из него выйдет настоящий писатель!

Мне была знакома эта черта Фрунзе — привязываться к некоторым людям, увлекаться ими. Еще до ареста он занимался с Павлом Гусевым, готовил его по всем предметам за среднюю школу. И в камере смертников поддерживал и ободрял Павла, заставляя его учиться, сам изучал английский язык, читал книги по истории, по математике, по психологии, какие тайком передавал ему тюрем-

ный врач. Одиннадцать месяцев Фрунзе и Павел Гусев были днем и ночью закованы в короткие ручные кандалы. Чтобы перевернуть страницу, им приходилось поднимать обе руки.

Я думал об Арсенни, слушая его, думал о Павле и представлял себе: в нашем корпусе, за несколькими стенами, сидит такой же рабочий, как и я, пишет в камере рассказ и будет со временем писателем. И я стал говорить, что тоже не падаю духом, прочел кое-что, многое продумал.

Фрунзе повторял:

— Это хорошо! Это очень хорошо!

Я признался, что бывают и тяжелые минуты. Но как только тоска начинает хватать меня, я закрываю глаза и представляю себе весь наш город и шум цехов, представляю себе, как тысячи новых людей приходят на наши места, сталкиваются с тем же злом, начинают думать о том же, что и мы; вспоминаю Талку, заседание Совета, лекции в лесу — и мне делается легче.

Я спросил, слышал ли он что-нибудь с воли, сильно ли разгромлены партийные организации в других городах, что с Центральным Комитетом.

— Что бы там ни случилось, партию убить нельзя, — ответил Арсенний. — Я прочитал здесь, в тюрьме, интересную книгу, — сказал он, — о новом металле, открытом ученым Кюри. Этот металл светится в темноте. Он излучает энергию, которая проникает даже сквозь каменные стены... Пусть мы не знаем, что происходит на свободе, все равно в наше время жизнь быстрыми шагами идет вперед.

Через окошечко в двери камеры подали чайник. Мы пили чай, и я впервые жалел о том, что нужно идти на работу.

— Мне тоже на работу, в столярную мастерскую,— сказал Фрунзе.— Всю жизнь хотелось основательно изучить какую-нибудь рабочую профессию,— с улыбкой признался он.— Все было как-то некогда, некогда. И вот здесь наконец осуществилась моя мечта!

## 15. СИЛА БОЛЬШОЙ ИДЕИ

В ту пору на Фрунзе, как на новичка, сваливали в тюремной столярке наиболее тяжелую работу — строгать гробы и кресты. Он же красил гробы охрой и только между делом мог присматриваться к тому, чем заняты краснодеревщики. Но он относился к своей работе серьезно, каждый день открывал в ней что-нибудь новое, объяснял мне разницу между креплением на шипах и на шпунтах, рассказывал, что такое шпунтубель, струбцинка, калевочная линейка.

За день ему приходилось много строгать фуганком. Двенадцать часов в мастерской при плохом питании надо было выстоять на ногах. Вернувшись вечером в камеру, он ложился на койку пластом. Но уже минут через десять начинал шевелиться и доставал из-под подушки книгу. А еще через полчаса поднимался с койки, задавал мне задачи по математике, проверял решения вчерашних задач, объяснял непонятные слова в книгах.

Несколько раз мы с ним сильно поспорили. В дни его дежурств по камере я хотел его заменять и доказывал, что это будет только справедливо. Ведь помогал же он мне изо дня в день в моих занятиях! Почему ему не принять иногда мою помощь в маленьких хозяйственных делах?

Но он упорно отказывался и в дни своих дежурств выносил с утра парашу, смолил ее изнутри длинной пал-

кой с помазком на конце, до блеска начищал кирпичом медный обеденный бачок и чайник, натирал воском пол в камере, сырой тряпкой обметал стены и карнизы. Наибольшая чистота и порядок у нас в камере были в дни дежурства Арсения.

Он учился так, как будто у него оставалось совсем мало времени впереди и надо было спешить и спешить, пользоваться каждой минутой. Он читал за полночь, тайком от коридорного, при свете ночника. Иногда наша камера казалась мне вагоном быстро идущего поезда. Арсений как будто зашел сюда только на минуту. Когда он начинал говорить о своих любимых писателях — Горьком и Толстом, об истории или математике, не только я, но и сосед наш по камере, Яша Беленький, обо всем забыв, слушали его.

Одно время Арсений увлекался стихами и перечитал русских поэтов от Державина до Брюсова. По привычке делать то же, что и он, я брал у него книгу за книгой, но нередко с зевком откладывал их.

— Не нравится? — спрашивал Арсений.

Взяв отложенную книгу, он находил и читал вслух несколько строк, иногда несколько слов, и я думал: «А ведь правда хорошо!»

У него было быстрое чутье к словам, к их скрытому значению.

— Ты подумай, — говорил он, — как это сильно сказано: «И звезда с звездою говорит». Как много выражено: тишина, темнота, торжественное, грустное настроение одинокого человека, стремление вырваться из одиночества. «И звезда с звездою говорит».

Он много занимался итальянским языком и часто хвалил:

— Какой красивый, ясный, звучный язык!

Однажды поздно ночью он рассказывал нам вполголоса о Данте. Беленький попросил Арсения поговорить с ним по-итальянски, прочитать что-нибудь. Арсений продекламировал несколько строк из «Ада». Беленький восхитился:

— Очень красивый язык!

Это обрадовало Фрунзе, и все так же тихо, чтобы не привлечь внимание часового, он спел по-итальянски «Гарантеллу». И вдруг, мягко соскочив с койки, при свете ночника протанцевал ее.

Яша Беленький ожил, когда в камере появился Фрунзе, стал разговорчив, часто вступал в споры с нами. Он знал Арсения еще по воле. Несколько раз им приходилось встречаться на нелегальных рабочих сходках. Иногда, будто продолжая давно начатый диспут, слегка подтрунивая, Беленький говорил Арсеню:

— Вы считаете себя революционерами, но вы тоже опутаны с ног до головы предрассудками старого общества. У вас, как в царском департаменте, — все построено на субординации. Всесильный комитет постановил — и сотни людей обязаны вышагивать, как солдаты, в ногу: ать-два! Истинная свобода не терпит никакого принуждения.

Фрунзе возражал ему чуть рассерженно, очень серьезно:

— То, что вы, анархисты, исповедуете, это более отсталое, чем дикарская мораль. Даже в каменном веке люди объединялись в большие коллективы, для охоты на мамонтов, например. А там, где объединение, там и самоограничение, и подчинение воле руководящего центра. Тем более в современном, сложном человеческом обществе. Вот спросите Тимофея, он десяток лет проработал на фабрике, — можно ли создать хоть небольшой кусочек

ситца, если не пойти на самоограничение, не считаться указаниями мастера и подмастера? Все железные дороги остановились бы, если бы, борясь с деспотизмом, рабочие зачислили в деспоты дежурных по станциям и перестали выполнять их распоряжения. Революционер — это тот, кто зовет вперед, а вы тянете человечество на тысячу летия назад!

Я сказал:

— У нас в Иваново был один темный старик с фабрики Куваева. Ему лично уже ничего не надо было, кроме кусочка хлеба. Не видел он для себя смысла бастовать. А мы его задержали, не пустили на фабрику, объяснили, что нехорошо подводить товарищей, и он нас послушался. Как вы считаете: это насилие над личностью, ущемление свободы?

— Да, насилие! — воскликнул Беленький, сам уж чувствуя, что совсем запутывается и не прав.

Мы часто спорили, раздражались, сердились. Но даже в минуты крайней запальчивости в тоне Арсения не было высокомерия и недоброжелательства. В нашей повседневной жизни он считал нетактичным отделяться от Беленького и если встречал в книге какую-то интересную мысль, старался рассказать ее так, чтобы и сосед наш по камере понял и прочувствовал.

— Вы непоследовательны, — упрекнул нас однажды Беленький. — У вас нет постоянства. Сегодня вы бойкотите Государственную думу, завтра — участвуете в ней. Потом опять бойкотируете...

— Зато «человек в футляре» у Чехова был «последователен». Он всегда ходил в пальто и в калошах! — было у нас в Фрунзе, подмигивая мне, и мы засмеялись со всего сердца, так что и Яша Беленький не мог скрыть улыбки.

Однажды Фрунзе до поздней ночи шепотом рассказывал нам о Марксе, о том, как Маркс нищенствовал с большой семьей, когда писал «Капитал», у него временами не было денег, чтобы купить лекарство больному ребенку или газету. И как он был все-таки весел и жизнерадостен, любил детей, бегал с ними взапуски,— почтенный отец семейства, с седою бородой! Рассказывал, как Маркс не выносил самовлюбленных людей, вроде Лассаля, и на вопрос своих дочерей, какой самый страшный порок на свете, не колеблясь, ответил: «Лицемерие».

— Красота таких людей именно в том, что они живут не только для себя и своей семьи. Они подчиняют свою жизнь и волю миллионам людей, ограничивают себя, жертвуют всем, что имеют, ради большой идеи,— волнуясь, говорил Фрунзе.— И, ограничивая себя, сливаясь с массой, они тем самым обретают высшую свободу, индивидуальность, бессмертие. И нет тут никакого противоречия для диалектически мыслящих людей!

Прошел слух по камерам, что Беленькому и его однодельцам заменяют каторжную тюрьму поселением в Сибири. В самом деле, однажды два надзирателя явились в камеру, и старший из них, глядя в список, спросил:

— Который тут из вас Беленький?

— Я! — ответил Яша.

— Да ты вовсе черненький,— тяжеловесно пошутил надзиратель.— Собирайся с вещами.

Яша обрадовался, но когда завернул в тоненькое одеяльце присланные ему с воли теплые кальсоны, фуфайку и несколько книг, будто заколебался, подвижное лицо его выразило сожаление, ему уже не хотелось уходить от нас. И мне, и Арсению было жалко расставаться с Яшей. Чувствовалось — еще несколько недель, и он растерял бы свой жидко замешанный, натасканный на себя анархизм и перешел бы на нашу сторону, как перешли сотник



Воротынцева и многие интеллигенты Шуи, переубежденные Арсением.

Фрунзе искал вокруг себя: что бы дать Беленькому на память? И вдруг вспомнил, достал из ящика тумбочки выточенную им красивую деревянную ложку.

— Возьмите, Яша. Чтобы три раза в день вспоминалось... — улыбнулся Арсений.

Беленький пожал ему руку и невольно сделал шаг вперед. Они обнялись, поцеловались.

Не раз мы после вспоминали о Яше Беленьком. Фрунзе говорил о нем с беспокойством и сожалением:

— Если попадет в хорошие руки — будет человеком. Способный парень, только с вывихнутыми мозгами.

Нас выводили на прогулку, объединяя по две камеры, в надзиратели из себя выходили, устанавливая на прогулочном дворике порядок. Люди из соседней камеры спорили из-за того, кому идти с Арсением. Когда начинали наконец двигаться по кругу, пары впереди Фрунзе замедляли шаг, а задние подходили ближе, чтобы слышать, о чем он говорит.

Иногда он казался мне грустным. Лежа на спине с открытыми глазами, заложив руки под голову, он подолгу смотрел в потолок камеры, забыв как будто обо всем. Однажды в такую минуту я спросил его:

— Трифоныч, о чем ты думаешь?

— Тяжело в тюрьме, правда, Саша? Но ты посмотри, у нас есть работа, мы беседуем, мы вместе. А есть миллионы и миллионы людей, у которых нет работы или нет ни минуты досуга, которые не умеют читать и чувствуют себя совершенно одинокими на свете. Есть много людей, у которых нет даже такого жалкого, как у нас, куска хлеба. В Индии, в Китае умирают от голода миллионы. Больше, чем на любой войне! И это, когда уже есть замечательные машины, научные открытия, воздухоплавание!

И в то же время женщины с утра до ночи с распухшими руками стирают тряпье, мелют зерна на ручных жерновах, растят и кормят детей, которые так и не вырастут, только плачут сейчас и погибнут, не начав мыслить, не испытав ни одной настоящей радости... Какая нелепость! Я много думал в те годы о старой поговорке «На миру и смерть красна» и спросил однажды Фрунзе, приходится ли ему сидеть в одиночке.

— Мне кажется, там бы я совсем зачах,— сказал я.

— Неправда! — возразил Фрунзе. — Я сидел в одиночке. Когда есть о чем подумать, не страшно и одиночка. Я в одиночке готовил свою первую большую работу. Тот кто показал пример, как надо держать себя в тюрьме! Он работал с утра до ночи, камера его была завалена бумагами, и каждый день он требовал себе все новые и новые. Он писал в тюрьме листовки, обращения к рабочим, писал в одиночной камере программу партии. А когда ему сказали, что скоро выпустят из тюрьмы, он пошутил: «Мано еще, я не кончил свою работу». Когда так живешь, работа, ничего не страшно.

Тюремщики невольно уважали и побаивались Фрунзе. На карточке его особых примет рядом с отпечатком его пальцев они отметили: «Походка твердая. Манера держаться: прямо».

Они могли убить его, разорвать на части, но ничем не могли внутренне задеть и обидеть его. Они одели его в тюремской арестантский костюм, командовали: «Шапку пойд! Смирно! Равняйся!» — но видели, что все равно он спокойнее, пронизательнее и внутренне спокойнее, чем другие.

У нас был начальник отделения тюрьмы, штабс-капитан Козицкий, желчный неврастеник, типичный нечеловек; он вихлялся на ходу, его левая рука нервно

подергивалась и веки подмигивали, когда, сузив глаза, он обращался к нам. Ему то и дело мерещилось, что к нему недостаточно почтительны и смеются над ним.

Он вызывал к себе заключенных, на их глазах помахивал письмами с воли и на мелкие клочья разрывал письма, не давая прочитать. У него был писклявый голос, и что-то судорожное и жалкое было в нем — он словно предчувствовал, что через несколько лет, по приговору революционного трибунала, мы его расстреляем.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1. МНОГО ЛЕТ СПУСЯ

Я не был в Иваново-Вознесенске одиннадцать лет. Из тюрьмы меня отправили в ссылку, затем на германский фронт. Первые месяцы революции я работал в Пскове, затем под Казанью. Осенью 1918 года вернулся в Иваново и прямо с вокзала отправился разыскивать Фрунзе.

В бывшем купеческом доме, на втором этаже, сидела за столиком седая женщина, похожая на учительницу. Я очень уверенно обратился к ней:

— Можно пройти к товарищу Фрунзе?

— Он на совещании. Присядьте, пожалуйста.

Я сел на стул и стал дожидаться. Она глянула на мою репанную шинель и руку на перевязи и спросила:

— Как ваша фамилия? Я сейчас зайду туда и могу Михаилу Васильевичу сообщить о вас.

Я заколебался.

— Фамилию мою он мог забыть. Скажите, приехал Тимофей.

Она записала что-то на маленьком клочке бумажки и вошла в кабинет.

Через несколько минут появился Фрунзе.

— Как ты изменился! — воскликнул он и обнял меня, отступил на шаг и еще раз обнял.

Он тоже сильно изменился, оброс густой, вьющейся бородой, лицо его казалось более тонким. Многие говорили, что едва его узнали после долгой разлуки. Но я не секунды не колебался, увидев его глаза. Если бы все дело его было закутано и только издалека, как со дна колодезя, были бы видны одни глаза, я и тогда бы узнал его.

Улыбаясь, мы смотрели друг на друга.

— Откуда ты? — спросил Фрунзе.

— Из Казани.

— Ранен? — указал он глазами на мою руку.

— Только что из госпиталя. «Серые помещики» убили.

Я рассказал ему коротко о кулацком мятеже, на подавлении которого был всю весну и в начале лета.

— Значит, бывал там в деревнях? Видел, как живут крестьяне? Знакомился с работой сельских Советов?

— Не вылезал из деревень. Но это было до ранения. Два месяца назад.

— Пойдем, ты нам расскажешь, как там, в Поволжье у нас еще не кончилось, перерыв. Товарищи знакомят с документами.

Я вошел в кабинет. Там сидело около тридцати че-

ек. Все с любопытством приглядывались ко мне. Было несколько старых товарищей. Постепенно узнавая меня, они улыбались, здоровались со мной. Но в большинстве это были совершенно незнакомые мне люди. Что я им должен рассказать? Откуда знает Арсений, почему он уверен, что я им нужное расскажу? А может быть, не очень свежие новости мои будут здесь ни к селу ни к городу?

— Слово имеет товарищ Ершов, приехавший из Полужья. Работал там в деревнях.

Я глянул на Фрунзе, ища поддержки. Он смотрел на меня доверчиво и серьезно. Я стал рассказывать, как куки переходят к новым формам эксплуатации крестьян, стараются держать поменьше земли и батраков, опутывают деревню займами, «отработками», неписаными калыными соглашениями, ловкими приемами протаскивания своих людей в сельские Советы и скрывают хлебные тасы.

Я кончил говорить, и Фрунзе задумчиво произнес:

— Вот видите, процессы одни и те же. Повсюду, во всех губерниях. Закономерность классовой борьбы! «Сей помещик» более опасный и скользкий враг, чем господа дворяне. В каждом селе должен быть представитель своего класса, если мы хотим добиться прочного успеха в деревне.

По лицам присутствующих я понял — моим выступлением он в чем-то собрание убедил.

После совещания он повел меня к себе. Квартира его недалеко. Шли пешком.

Две комнаты, почти пустые, на втором этаже нового дома. Пружинный матрац, поставленный на деревянный настил и застеленный ситцевым покрывалом. Письменный стол. В другой комнате железная койка, женские платья

в зимнее пальто на гвоздиках, окутанные марлевым по  
лицом.

— Сейчас чай будем пить, — объявил Фрунзе и, выйдя  
в коридорчик, разжег керосинку. — Где же твои вещи, Са  
ша? Ты говоришь, прямо с вокзала?

— Все мое вошу с собой. Как древний мудрец, — ус  
мехнулся я.

— Что у тебя дома? Что с Николаем Ивановичем  
Клавдией Матвеевной? Где Тоня?

Он помнил моих родителей по их именам и отчеству.

— Старики умерли. Сестры повыходили замуж. Тоня  
в Кивешме у тетки.

— А домик ваш сохранился?

— Дом старшая сестра продала. Точнее, выменяла на  
мешок ржаной муки.

— Прохвосты, разжились на войне, на несчастьях на  
рода, — нахмурился Фрунзе. — Я был недавно в Дунилове  
там у одного кулака нашли в сарае токарный станок.  
Я понимаю — пианино, люстру, но зачем ему токарный  
станок? Спрашиваю: «Зачем вам станок?» Он отвечает  
«Так. На всякий случай». Что бы стало, Саша, с наше  
Россией, если бы не диктатура пролетариата? Всю бы  
растащили по кусочкам! На всякий случай.

Он снял с небольшого круглого столика газеты и кни  
жки, настелил его клеенкой и спросил:

— Где думаешь работать?

Я пожал плечами:

— Не знаю.

— Что ты делал в ссылке?

— Сасария в маленькой мастерской. Читал кое-что.

— А на фронте?

— Вел пропаганду среди солдат.

— Среди крестьян не хотел бы работать?

— Мало знаю деревню.

— «Нет подхода», — улыбулся Фрунзе. — Помнишь, как ты сказал мне однажды: «У меня нет подхода». Ты слишком скромн, Саша! По-моему, это тоже недостаток. Как же, как излишняя самоуверенность.

— А что я могу делать? Вот такой, каким ты меня гаешь и видишь? Почти без всякого образования... Не-ножко поумневший, поломанный в тюрьме и на фронте, остаревший?

— Постаревший! Что ты говоришь! В тридцать лет с большим? Опомнись, голубчик мой! Мы еще только дились на свет. Только-только начинаем жить!

Я засмеялся.

— Дети с седыми волосами. У тебя тоже, Трифону, вижу, седина блестит кое-где.

Но он меня как бы не слышал.

— Ты спрашиваешь, что ты можешь делать? Все! помни, какие силы находили в себе тринадцать лет зад. Мы были неопытными юнцами, шли ощупью, а ка-ю энергию находили в себе, чтобы сшибить прогнив-ый, бездарный строй. А ведь это был только подступ к ну. Самое неприятное — «могильщики капитализма», вот наконец вышли на простор! — Он вынул из шкафа кусок мяса, нарезал его тонкими ломтиками и сло-л на тарелку. — Я знаю, где тебе будет по душе рабо-ь: в городском Совете. Посмотришь завтра, сколько постили улиц, сколько посадили новых деревьев. По-ишь, как на Ямах тонули в грязи по колена — теперь мостовая. Сделали за один день. Вышли с трех фаб- и сделали в одно воскресенье.

В комнате смеркалось, Фрунзе повернул выключа-ь. Лампочка зажглась под потолком.

— Видишь, и электричество. В полной исправно- — с удовольствием сказал он.



Отворилась дверь, без стука вошла хмурая молодая женщина в стареньком пальто и в шляпке.

— Познакомьтесь, это Соня, Софья Алексеевна, моя жена. Это Саша, Александр Николаевич, мой старый друг.

Женщина молча подала мне руку. Я смутился, вскочил со стула, осторожно пожал ей руку и продолжал стоять, тоже не находя слов. Мне казалось, что я уже слишком засиделся здесь.

— Садись, Саша, будем пить чай. Ты устала, Соня? Что-нибудь на работе?

— Нет, партийное собрание. Не так устала, как раз болелась голова.

Она села в широкое дубовое кресло, единственное в комнате. Фрунзе быстро резал маленькими ломтиками темный липкий хлеб. Хлеб пекли тогда пополам с карто фелем.

У Софьи Алексеевны было интеллигентное лицо, длинные артистические пальцы. Я вообще мало в своей жизни говорил с женщинами, тем более с такими изящными образованными, и совершенно не знал, что с собой делать, куда девать свои руки, ноги.

— Соня, Саша Ершов только что из Казани. Говорит там гораздо лучше с хлебом, чем у нас. Почвы, конечно намного плодороднее; главное, производящая, а не потребляющая губерния. Не так зависят от подвоза. Во если бы для наших ивановских полей найти такую же урожайную культуру, как рис в Средней Азии...

Он налил мне чаю в толстый граненый стакан, а жену в чашку с цветами. Софья Алексеевна устало улыбнулась и сказала:

— Спасибо, Миша!

Открыв продолговатую, овальную коробочку, Фрунзе высыпал на блюдце таблетки с сахаринном.

— Клади по вкусу. Я кладу две.

Он бросил две таблетки в большую эмалированную ружку. Сахарин шипя растворялся в кипятке.

Мы ели хлеб с тонкими ломтиками конского мяса, запивая незаваренным кипятком, и щеки Софьи Алексеевны слегка порозовели.

— Вы надолго в Иваново, Александр Николаевич?

Кажется, впервые в моей жизни меня называли Александром Николаевичем. Я покраснел и отрубил:

— Навсегда!

— Правильно! Молодец! Лучше нашего города нет! — воскликнул Фрунзе.— Я был в Белоруссии, Забайкалье, Южную Среднюю Азию. Везде народ хорош по-своему. Но такой солидарности, такого душевного согласия, простоты и сердечности человеческих отношений в массе, именно в массе народа, пожалуй, нигде не находил. Равнинный край! Знаешь, Саша, мы нашу губернскую газету так и называли: «Рабочий край».

— Миша так рвался сюда, вы не можете себе представить! — улыбнулась Софья Алексеевна.— Где бы мы жили, я только и слышала: Иваново-Вознесенск, Шуя, Иваново-Вознесенск. Я думала, в самом деле сказочные города. Лучше Петрограда и Москвы.

— А что ты думаешь, во многих отношениях лучше! — убежденно сказал Фрунзе.— Тут нет мешанины, случайной публики, нет канцелярского, чиновничьего, бюрократического духа, как в других городах.

Когда я уходил, Фрунзе проводил меня до лестницы.

— Именно в городской Совет! Ты там развернешься, уверен,— сказал он на прощанье.

Я спускался по лестнице улыбаясь. Что-то самое главное сохранилось в нем, несмотря на все испытания и перемены в его жизни.

## 2. ДОВЕРИЕ К ЛЮДЯМ

Доверие к людям — вот что было, пожалуй, главным в Михаиле Васильевиче. Чистый по натуре, лишенный фальши и лицемерия, полный жизни и истинной доброты, он искал прежде всего лучшие черты в любом человеке и находил их.

Иваново после революции стал центром новой губернии. Образованных людей в городе было очень мало. Работая одновременно председателем губисполкома, председателем губкома партии, председателем совета народного хозяйства и комиссаром Ярославского военного округа, Фрунзе искал людей с образованием повсюду, привлекал колеблющихся, зажигал равнодушных, умел найти ключ к сердцам даже тех, кто по самому положению своему должен бы враждовать с новой властью.

Часть фабрикантов после революции бежала из Иванова, переведя заблаговременно свои капиталы за границу. Оставшиеся образовали союз фабрикантов. Когда, по инициативе Фрунзе, в городе начали создавать политехнический институт, губисполком сумел привлечь многих владельцев фабрик к активной помощи в новом, культурном деле. Особенно много сделал для организации политехнического института потомок знаменитого в нашем городе «Мефодки», Александр Иванович Гарелин, знающий инженер с большим опытом. Когда фабрика Гарелина стала из-за отсутствия сырья, Фрунзе предложил Александру Ивановичу пост технического директора на одной из национализированных фабрик. Бывший крупный капиталист Гарелин работал с нами не за страх и за совесть и занимал впоследствии руководящие посты в советской нефтяной промышленности.

Дмитрий Андреевич Фурманов в 1917 году был анархистом, горячо пропагандировал среди ивановских раб

них идей Кропоткина и Прудона. Анархистом Фурманов ставался и после Октябрьского переворота. И в ту пору Фрунзе любил и уважал Фурманова, много, часто, от всей души говорил с ним, в конце концов помог рассеять туман, в котором жил талантливый, искренний юноша. В июле 1918 года Фурманов с рекомендацией Фрунзе вступил в Коммунистическую партию. А в октябре 1918 года на губернской партийной конференции, по предложению Фрунзе, Дмитрий Фурманов был избран секретарем губернского комитета партии.

Изобретатели, открыватели нового, люди беспокойного ума удивительно быстро находили общий язык с Фрунзе. Жители захолустных городов и поселков часто появлялись в кабинете председателя губисполкома с сообщениями о вновь открытых запасах торфа и цветных глин, проектами сооружения силикатных, керамических заводов, тепловых электростанций. Многие хотели бы содействовать, но не было у нас в то время ни средств, ни технической базы, никаких запасов. Бездарное царское правительство довело страну до крайней нищеты и оскудения.

Транспорт, разбитый войной, не справлялся с перевозками. На фабриках не хватало топлива. Без конца выезжали делегации за топливом для предприятий: из Ичуги, из Кинешмы, из Шуи. Шли заседания, совещания.

Руководители снабженческих организаций докладывали: «Нефть есть, она занаряжена, идет!», показывали телеграммы в подтверждение своих слов.

— Но где она? — возмущались представители с мест. — И когда она придет? После дождика в четверг? Или она нужна немедленно! Сегодня, сейчас!

На одной фабрике в Шуе работал техником паросилового хозяйства Кашин, молодой человек, на редкость степенный и некрасноречивый. Он предложил отказаться

ся от нефти, снять форсунки и поставить к котлам шахтные топки, чтобы можно было использовать любое топливо: обрезки, пни, опилки. Фрунзе узнал об этом, настоял, чтобы в распоряжение Кашина отдали котельную, выдали немалую сумму денег на переоборудование котлов. После того как реконструкция топок была удачно закончена, Фрунзе поставил доклад Кашина на сессии губисполкома, настоял, чтобы о Кашине и его топках напечатали статью в областной газете. Кашин стал одним из самых известных людей в Ивановской губернии.

С утра до вечера к Фрунзе шли с фабрик, приезжали из разных городов, спрашивали, где взять деньги, топливо, хлопок, муку, картошку, требовали от него немедленного ответа, немедленной помощи. Я не помню случая, чтобы он ответил: «Это невозможно», «Из этого ничего не выйдет». Он говорил: «Попробуем», «Посоветуемся с людьми», «А сами вы что предлагаете»? Он верил в людей глубоко, убежденно, верил в творческий разум масс.

Однажды меня срочно вызвали на сосневскую фабрику: там началась «волынка».

В то время ценные продукты шли на поддержку производства. Только на фабриках давали иногда сахар, мыло, папиросы, копченое мясо. И на фабрики хлынули бывшие торговцы, огородники, с тем чтобы поработать сезон и «схватить» что удастся. Но и предприятия снабжались с большими перебоями.

Я приехал в Соснево, услышал рыночный гвалт, воли: «Не хотим так работать!» — и мне стало обидно за фабрику. «Гастролеры» приходили на работу в хороших чesанках и калошах, с огромными, прочными сахарными мешками и в цехах озирались, как бы примериваясь, нельзя ли тут что-нибудь разобрать по частям и сложить в мешок? И вот они теперь пытались «делать погоду» рабочем коллективе.

Хуже всего было то, что старые работницы, измученные голодом, поддерживали эсеровских демагогов. Хулы, в опорках на босу ногу, со вздувшимися венами, в обках, облепленных оческами и пиями, ткачихи и прильницы кричали: «Мы не можем так больше! Не будем работать!»

А организаторы «волянки» поддавали жару. Особенно бесился желтоглазый молодец с якорем на руке, с расстегнутым воротом рубахи.

Председатель фабкома сделал ошибку, потерял хладокровие и крикнул:

— Вот такие, как ты, в пятом году шли с черной сотей!

— Ты что, грозись? — вскрикнул бузотер. — Ты что, меня там видел? Ты человек, а я не человек? Тебя мать одила, а меня разве курица снесла? Я тоже жить хочу, никто мне не имеет права рот заткнуть! За что борюсь?

Шум усилился. Несколько раз я пробовал утихомирить собрание. Мне не дали говорить.

Я посоветовал президнуму не закрывать собрания, устился в контору, к телефону, вызвал Фрунзе и вкратко объяснил, в чем дело. Он обещал:

— Буду через пять минут.

Я ждал, взволнованно расхаживая у ворот.

Прошло пять, десять, пятнадцать минут.

Несколько раз мне чудились крики вдали, треск автомобиля, но нет — это был гул встревоженных людей, носившийся на улице через закрытые окна. Неужели случилось несчастье в дороге? И как раз такие дни: вскопосле покушения на Ленина.

Наконец вижу: бежит Фрунзе, прижав локти к бокам, легка припадая на одну ногу. Без фуражки, без прово-

жатых. Веселый, покрасневшийся, оживленный движением. По дороге к Сосневу сломалась машина.

Он вошел. Несколько голосов крикнули: «Тише! Фрунзе!», но галдеж не уменьшался. Не обращая внимания на шум, он начал говорить.

Сначала его плохо слышно было даже в президиуме. Но это его как будто не огорчало и не беспокоило. Он говорил серьезно, с подъемом, следя за своей мыслью. На смешливые выкрики неслись из передних рядов. Как бы не замечая их, он говорил. И, глядя на его лицо, может быть не разобрав еще ни одного слова, из задних рядов из середины зала стали кричать:

— Тише!

Переглядываясь, организаторы «волынки», сидевшие в первых рядах, вновь и вновь начинали свой кошачий концерт. Фрунзе говорил через их головы.

Теперь со всех концов кричали:

— Тише, тише!

Когда я стал разбирать отдельные его слова, меня удивила чрезмерная, как мне показалось, сложность его речи. Он не произносил успокаивающих фраз, ничего не обещал, никого не упрекал. Это был разносторонний доклад обо всем, что выявилось на заседаниях и комиссиях последних дней. Фрунзе говорил о транспорте и финансах, и мне казалось вначале, что во всем зале его поймут только пять — десять человек. Это была сводка его отдельных выступлений, широкая картина жизни, открытый рассказ о противоречиях и трудностях, об основных проблемах управления. «Плохо живется рабочему Да, очень плохо!» — говорил Фрунзе.

Он говорил, и постепенно обнаруживалось, как нечужда шайка крикунов в первых рядах. А ведь вначале казалось, они занимают половину зала! Те, что стояли сели. Я видел там и здесь лица не понимающие, но сил

ценея понять, ловил заинтересованные, осмысленные взгляды. Фрунзе говорил полтора часа, конец его речи прерывали аплодисментами. Я заметил слезы на глазах женщины и подумал: «Он видит людей не только такими, как они есть. Он видит их такими, какими они могут и должны быть!»

Он уходил с фабрики, и его провожала толпа рабочих. Работницы пробивались к нему, и он, останавливаясь, записывал в блокнот их просьбы, приглашал заходить к нему, объяснял, где и как его найти. Он узнавал тариков, вспоминал их имена.

Каждый хотел лично проститься с ним. Ему жали руку и так говорили «спасибо», словно он оставил на фабрике нечто материальное для них и для их семей. И, прогившись с ним, топтались на месте. Будто не все выразили и много еще осталось ему сказать.

Десятки фабрик в Иванове и в губернии продолжали работать в 1918 году. Кое-кому это казалось чудом. Но никакого чуда не было, просто жизни свои отдавал рабочий класс своему государству. Измученные четырехлетней войной, голодом, недостатками, люди, однако, не только работали, они мыслили, творили, искали новое, жили из последних сил.

### 3. ДЕЛО ФОКИНА

Как всякий, кто прожил нелегкую жизнь, издерганной каторжной тюрьмой, смертными приговорами, долгами годами нелегального существования, и Фрунзе был подвержен вспышкам раздражительности и нетерпения. Он быстро замечал в людях их слабости, проявления эгоизма, обывательской самоуспокоенности, лени ума. Он даже в этих случаях не позволял себе грубо обо-



ривать, увидеть кого бы то ни было и не поддавался в оценке людей чувству личной неприязни.

Когда в иной раз в припадке бешенства говорил ему: «Твои люди это же барбос! Огарок! Шкура барабанщик!» — Михаил Васильевич, нахмурившись, осаживал меня: «Поменьше запальчивости; факты! Обругать — это еще не значит оценить».

Восновным комиссаром Ярославского округа был до Фрунзе некто Аркадьев, человек небольшого ума и больших претензий. Его обидело, что с приходом Фрунзе он, Аркадьев, очутился на вторых ролях. Аркадьев завидовал популярности Фрунзе и стал писать клеветы в Москву, обвинял Фрунзе в том, что тот якобы «окружил себя царскими генералами и офицерами и чересчур поддается их мнению». Фрунзе знал о жалобах Аркадьева, знал с недоброжелательных слухах, какие распускает о нем Аркадьев, но держался с Аркадьевым ровно, корректно. Когда Аркадьев заболел, именно Фрунзе выхлопотал для него пособие на лечение.

Не только по великодушию, по доброте характера Михаил Васильевич поступал так. Это было продуманной лживой поведением. Он учил меня: «Когда отвечаешь за тысячи людей — прячь подальше свое я, свои обиды и капризы». Объективностью, справедливостью он обезоруживал своих личных недоброжелателей надежнее, чем любыми преследованиями. Мне говорили, что Аркадьев переменял свое мнение о Фрунзе и до конца жизни своей отзывался о нем с уважением.

Однако бывали случаи, когда и Фрунзе становился беспомощным в своих суждениях.

Городской Совет сделал опыт в те годы — создал при национализированных фабриках подсобные хозяйства. Особенно крупным было хозяйство бывшей Куваевской мануфактуры. В двадцати километрах от Иванова

плодородной земле насадили огороды, поставили на откорм несколько десятков поросят.

Директором подсобного хозяйства назначили Фокина, профсоюзного работника. Фокин участвовал в революции 1905 года, сидел в царских тюрьмах, был в ссылке. Разбитой, общительный человек, хороший оратор, он пользовался авторитетом на фабрике, и когда возы картофеля и свиные туши стали поступать в рабочую столовую, популярность его возросла. Сидя в столовой за жирным супом, люди говорили: «Это нам привет от Фокина», «Фокинские поросята».

Поздней осенью в горсовет стали поступать жалобы, что Фокин зазнался, груб с людьми, кого-то обругал, кого-то выгнал из кабинета, пьянствует с бухгалтером. Мы послали комиссию для обследования хозяйства, многие факты подтвердились. Фокина вызвали на исполком, прогнали его как следует, предупредили. Еще круче ему пришлось на партийном собрании на фабрике, там ему говорили, что он «на пути к моральному разложению», написали ему строгий выговор в личное партийное дело. Он каялся на собрании.

Через несколько дней о нем забыли. И вот однажды телефонный звонок в горсовет, — Фрунзе!

— Кто у вас занимался делом Фокина?

— Я, Михаил Васильевич!

— Ты бывал у него в хозяйстве?

— Бывал.

— Давно?

— Месяц назад.

— А после того как начали поступать письма?

— Туда ездила комиссия. А что, Михаил Васильевич?

— К нам в губком поступило заявление. Вызовите Фокина, завтра вопрос о нем будет стоять на бюро губ-

кома. Все, кто занимался делом Фокина, завтра явятся на бюро.

На это заседание бюро были вызваны многие коммунисты с фабрики и рабочие хозяйства. Женщины в шестяных шалях сидели около стола Фрунзе.

— Слово имеет товарищ Запанчикова, — объявил открыв заседание бюро.

Пожилая женщина с обветренным лицом сбросила шаль на плечи и без всякого смущения начала:

— Я что знаю, о том скажу, а чего своими глазами не видела, того говорить не буду. Пили они с бухгалтером. Это было. Однажды ночью вышли пьяные на крыльцо и стали из винтовок стрелять. Я говорю: «Дмитрий Егорыч, не надо стрелять, вы мне перепугаете детей». «Не лезь не в свое дело». Я говорю: «Как это так, Дмитрий Егорыч, не мое дело? Мы тут живем, я сторожила за все отвечаю». Он рассердился: «Ты замолчи. Ты еще будешь меня учить! Меня все уважают, все знают, как такой Фокин. Ты меня не имеешь права учить!»

— Было это? — спросил Фрунзе.

— Было, — негромко признался Фокин.

— Продолжайте, товарищ Запанчикова.

— С тех пор он меня невлюбил. Однажды выгнал меня из кабинета. Затапал ногой и закричал: «Уходи сюда!» Я выступила на собрании и сказала: «Опять у нас держиморды. Кричат на людей, как при старом режиме. А через несколько дней он меня уволил. Будто за то, что я украла мешок картошки. А тот мешок картошки я не крадал. Люди видели, могут доказать. Это они с бухгалтером картошку меняли на самогон».

Еще несколько женщин выступили со своими жалобами. Потом оправдывался Фокин.

— Где вы брали самогон? — спросил Фрунзе.

— Мне люди подносили. Из уважения.

Фрунзе встал. Он был взбешен. Не глядя на Фокина, он обрушился на меня, на комиссию, которая обследовала подсобное хозяйство, на коммунистов фабрики:

— Вы копались в бумажках, как старые юристы-рючкотворы! Потеряли партийное чутье! Не обнаружили документов растраты и решили: не пойман — не вор, он гораздо хуже вора! Он раскрадывает доверие народа к партии, топчет души людей.

— Я тринадцать лет жизни, лучшие годы свои отдал революции, — сказал Фокин дрожащим голосом.

— Спасибо вам за это! Однако не настолько спасибо, чтобы мы позволили вам разрушать завоеванное всем народом. Разве Отец — Афанасьев, Оля Генкина отдали свои жизни за то, чтобы Фокин обманывал, крал, унижал людей? Если в вас и была когда-то совесть революционера, вы растеряли ее. Предлагаю исключить Фокина из партии и отдать под суд.

Через полмесяца Фрунзе спросил меня:

— Где сейчас Фокин? Что постановил суд?

— Три года условно. Бродит по фабрикам, ищет работу. Нигде его не принимают.

— Ну, это уже зря! — нахмурился Фрунзе. — Надо отправить его. Только где-нибудь здесь, в городе, на глазах у всех. Может быть, со временем станет человеком.

#### 4. КОСТЛЯВАЯ РУКА ГОЛОДА

Наступила тяжелая зима 1918—1919 года. На фабриках выдавали сначала по четыреста, потом по триста граммов хлеба на работающего человека. Люди голодали четвертый год.

Кончалось сырье на фабриках. Пускали в переработку отходы — «угары», делали из них грубые вигоновые

ткани. Наконец в одно осеннее утро остановились сразу шесть фабрик в Иванове. В городском Совете, в губисполкоме, в комитетах партии бродили по коридорам истощенные люди. Приходили узнать, что будет дальше, на что можно надеяться?

На что же оставалось надеяться? Туркестанский хлопок, бакинская нефть, сибирская пшеница были отрезаны от нас. Иностранные десанты с Севера, с Юга, с Дальнего Востока; Колчак в Сибири, Краснов на Дону. Четырнадцать капиталистических правительств посылали против нас войска, вооружали бежавших на окраины белогвардейцев.

Муки голода особенно страшны в густо населенных рабочих центрах. Как бы ни было трудно в деревнях, там всегда остается хоть какая-то надежда: рыба в речках, дичь в лесах. А что у нас оставалось на захламленных, занесенных снегом фабричных дворах? Рабочие ходили за нами по пятам. Дома у них не оставалось и горсточки пшена, но они уже не просили хлеба, они просили работы. «Когда откроются фабрики?», «Хлопок подвезут?»

Что было ответить на это? Как глядеть в глаза людям?

Однажды вечером я зашел к Фрунзе. В кабинете его было холодно и полутемно. Сгустились сумерки, однак Михаил Васильевич не включал света. В шинели, наброшенной на плечи, он стоял у окна и смотрел на деревянные домишки.

Там, под обветшалыми крышами, в темноте, в душнотесноте жили усталые голодные люди, не зная, что с ними будет завтра, всецело доверяясь нам, руководителям. Там плакали дети. Старухи, шаркая отяжелевшими ногами, бродили по холодным комнатам, щепали лучин

чтобы разжечь самовары и хоть кипятком согреться настоящего.

Из труб иных домов тонкими струйками подымался дымок, похожий на неуверенные сигналы: «Мы здесь, мы еще живы!» А снег из темно-свинцовых туч падал и падал, крупными хлопьями заваливая улицы, трубы, крышечки, будто спеша похоронить последние проявления жизни.

— Это ты? — спросил, оглянувшись, Фрунзе. — Поймишь Таню Воеводину? Поймана с краденым товаром. Прегряз бязи пробовала вынести со склада. Обмотала вокруг себя. Трое детей, муж убит на войне...

Он стоял, отвернувшись от меня, глядя в окно. Снег падал. Становилось все темнее и темнее.

Я хорошо помнил Таню Воеводину, маленькую пряльщицу с пушистыми льняными волосами, хохотушку веснушках. Она носила бомбы для нашей боевой дружины в узелках и бельевых корзинах, с такой беспечностью, словно это были пасхальные крашеные яйца. Мне трудно было представить ее себе матерью троих детей и мне более тяжело было думать о том, как должна была прожить ее жизнь, сколько мук и унижений надо было перетерпеть, чтобы решиться хотя бы и ради детей на самоубийство.

— Война, — глухо сказал Фрунзе. — Убитые люди, разрушенные города. Отчаяние, озлобление. Голод. Обнищание, воровство... А ведь опять придется воевать! Долго придется воевать!..

Он сел за стол, кутаясь в шинель:

— Кусок ткани! — воскликнул он. — Тряпка! Из-за тряпки, из-за мешка картошки теряет душу человек! Резы, караван хлеба — они должны быть на каждом шагу, доступные всем, как воздух, как вода. Чтобы никто не думал о них... Много обещали мы людям, а пока и по

нищенской норме не сумели обеспечить детей! Что у тебя Саша?

Его слова разбередили самое затаенное, что мучило меня тогда.

Прошло всего два месяца, как я женился. Закройщик из фабрики, коммунистка с семнадцатого года, пришла однажды в городской Совет ругать нас за то, что плохо снабжаем фабрику дровами. Мы поговорили три раза, не больше, и я переехал к ней, в маленький домик за Приказным мостом.

В каторжной тюрьме, на фронте мне было трудно представить себе, что у меня будет семья. Казалось, уж настолько проморозил меня холод замкнутой, напряженной жизни, что даже вообразить было невозможно, как чья-то рука доверчиво ляжет на мою руку, проведет по моим волосам, что кому-то я буду говорить: «Тебе холодно? Дай я закурю тебя, закутаю одеялом, радость моя!» Казалось, настолько сжалось сердце, что никогда уже не смогу я говорить ласковых слов и если даже попытаюсь произносить их, то только напугаю людей.

Смогу ли я забыть или скрыть то, что осталось в моей памяти? Провокаторов, допросы «с пристрастием» штаб-капитана Козицкого? Голоса товарищей, идущих на смерть, виселицы, фронт, замерзшие трупы, сложенные штабелями. Если я даже не буду рассказывать и думать об этом, по одному моему взгляду люди поймут: он был там — и невольно отшатнутся. Именно невольно, пусть жалостью ко мне, но отодвинутся от меня. И с какой стати сеять мрак в их душах? Каждому довольно своих несчастий.

Но когда Аня говорила: «Родной ты мой! Сколько перенес!», мне казалось — все это только приснилось мне в тюрьме, кандалы, артиллерийские обстрелы, крики: «Снитара скорей!»

Ане с Леночкой, ее десятилетней дочерью, было труднее, чем мне. Она отвечала не только за себя, но и за ребенка, связанная тысячами нитей с беспомощным существом, которому даже не объяснишь, почему ему плохо. Многолетнее ожидание мужа, то надежды, то отчаяние, при всем том надо было работать на фабрике, и готовить дома обед, и стирать, и доставать дрова, картошку, терзаться за дочь, запертую в маленькой комнатке на ключ, и проводить собрания, и убеждать таких же обезумевших вдов и матерей, как она сама, поработать перхурочно. Ане пришлось гораздо труднее, чем мне, но она говорила с доброй улыбкой: «Жила бы Совреспублика, а мы не пропадем». И когда я смотрел на нее, слушал ее, крепла уверенность: нет конца силам, таящимся в человеке, никогда не поздно начинать все заново.

Хотелось хоть немного облегчить жизнь ей и ребенку. У нас в столовой городского Совета осенью выдавали каждому по стакану молока. Перелив молоко в бутылку, нес его в кармане домой, слышать, как Лена, увидев мезиз окна, распевает: «Дядя Саша идет!» — это было такой радостью, о какой и представления не имеют богачи, жившие в своих особняках все блага жизни, мыслимые и немыслимые. Иногда, набросив на себя ватное пальтишко, Лена выбегала встречать меня на лестницу. Аня говорила, полушутя-полусерьезно: «А если дядя Саша отъедет?» Дочка наша отвечала: «Я его никуда не отпущу».

И  
Раньше я не сумел бы даже представить, что столько счастья, так просто и сразу может достаться человеку. У меня была семья! Я говорил жене и дочери: «Скоро у нас начнется такая замечательная жизнь, какой не было никогда, ни у кого!» И сам безусловно верил в это. Как я не верить, если небывалая жизнь для меня уже началась!



В конце осени закрылась швейная фабрика. В столах ничего не оставилось, кроме пустых щей из зеленых квашеной капусты, ее у нас в Иванове называют «шашей». В школах едва топили. У Лены прохудились валенки, и печем их было зачистить. Аня подшила их обрезками старых ватных брюк, оставшихся после ее погибшего мужа, внутрь валенок закладывала стельки из газетной бумаги. И все же, когда Лена возвращалась из школы, ноги у нее были синие и мокрые.

Вот мы сидим у чуть теплой лежанки. Аня вяжет в спицах рукавички из старых чулок, Лена сматывает клубок обрывки ниток и просит меня:

— Дядя Саша, ты знаешь какую-нибудь сказку? Расскажи мне сказку.

— Лепочка, я все их забыл!

Конечно, немало сказок я помнил, но рассказывать мне не поворачивался язык. Разве я дряхлый дед, которому только и осталось, что вспоминать сказки? Даже двум только двум близким мне людям я, взрослый сильный мужчина, ничем не могу помочь!

На общегородском партийном собрании Фрунзе говорил:

— Мы не хотели войны. Любой ценой, даже ценой потерю зорного Брестского мира мы старались получить передышку для мирного, созидательного труда. Но нам эти передышки не дают. Нам опять навязывают, упорно навязывают войну! У нас нет другого выхода, кроме как оружием в руках пробивать себе дорогу к туркестанскому хлопку, к бакинской нефти, к хлебу для наших детей. Иначе нас задашат «костлявой рукой голода».

По решению Центрального Комитета партии Фрунзе был назначен командующим Четвертой армией Восточного фронта. В Иванове формировался отряд особого назначения. В добровольцы записывались сотни люди

иногда целыми семьями: отец и сыновья, мужья и жены. Два эшелона были вызваны для отправки ивановских рабочих на Восточный фронт.

И вот прощальный вечер в губернском комитете партии. Добровольцы и немногие остающиеся в городе поют хором:

Уж ты сад, ты мой сад,  
Сад зеленый мой.  
И чего ж ты, мой сад,  
Так рано расцвел?..

Фрунзе пел, положив голову на ладонь, пристально глядя вдаль печальными, ясными глазами. Он пел и напряженно обдумывал что-то. Митя Фурманов тронул меня за локоть и показал на Михаила Васильевича:

— Он даже когда поет — работает!

## 5. ПО ПОЯС В СНЕГАХ

В феврале 1919 года по заданию штаба Четвертой армии я выехал на переучет складов военного обмундирования в Пугачев. Ни железной дороги, ни шоссе между Пугачевом и Самарой тогда не было. Население за Волгой редкое: тридцать, сорок, пятьдесят километров от села до села. И на всем пути ни кустика, ни деревца. Только глубокие овраги да «сырты» — степные курганы.

Я выехал из Самары с попутным обозом в ясную погоду. Снег скрипел под полозьями, под расписными валенками возчиков. Далеко во все стороны видна была степь.

Вскоре поднялся ветер, побежали по полю струи пыли, померкли, сгустились и потемнели облака, пошел снег.

Ветер нигде не встречал препятствий, свистел в ушах и заставил лошадей идти медленным шагом. Снежинки

мчались с невероятной быстротой. Все потемнело, будто стало смеркаться. А может быть, и в самом деле настал вечер? Ни у кого из нас не было часов. Только большие светлые пряди вьюги, освещенные как бы изнутри, выныкали то там, то здесь над нашими головами.

Снег перемещался по полю. Путь перед нами замечало. Сидеть было холодно, а идти за санями по щиколоку в снегу становилось все труднее. Карманы моей шинели были полны снегом. Ветер отдувал у возчиков полы чепанов и тулупов, как бы стремясь оторвать их. Согнувшись, засунув руки в рукава, мы медленно брели за санями.

Стало смеркаться. А кругом — ни огня, ни строения. Все реже были видны вешки, занесенные пургой.

Мы начали терять дорогу. Сначала находили ее в глубине снега: если снег до икр, до колен, это значило — под нами дорога, а если проваливались по пояс — нет пути. Но скоро всюду навалило сугробы по пояс, исчезли вешки. В полных сумерках мы медленно двигались вперед в шуме, в кипении вьюги, крича друг другу на ухо, боясь отойти на несколько шагов от саней, чтобы не потеряться, гадая: то ли мы кружим на месте, то ли ветер меняется, дуя то в лоб нам, то справа, то слева от нас.

Я ехал на головных санях обоза и временами еле различал следовавшую за нами подводку. Она отставала. Вдруг и наша лошадь исчезла. Затем провалился возчик сани подо мной, и я полетел вниз.

Барахтаясь в овраге, по грудь в снегу, мы поставили на полозья опрокинувшиеся сани и стали понукать лошадь. Запутавшись в постромках, она не могла выбраться по крутому склону оврага.

Все возчики собрались вокруг нее, хлестали ее кнутами, кричали на нее хриплыми голосами. Лошадь, облепленная снегом, казалась маленькой. С прижатыми

голове ушами, она рвалась, дрожа, и не могла выкарабкаться.

Мы распрягли ее, выбросили сани из оврага, захлестнули лошадь веревкой поперек туловища и, сами с трудом выбравшись на обледенелый пригорок, потащили ее. Все понимая, лошадь делала судорожные движения, помогая нам, перебирала ногами быстро, как кошка.

Вытащив ее и снова скатившись в овраг, стали собирать рассыпанные мешки с солью. Разгребали снег ногами, тыкали в него кнутовищами. Собрали, пересчитали мешки, сложили их на сани, вновь обвязали их обледеневшими веревками.

Варежки мои промокли насквозь и стали тяжелыми. Я снял их. Руки горели. Снег мгновенно таял, падая на них.

Собравшись в кружок, выбивая огонь кремнем на отсыревший трут, возчики совещались, куда теперь путь держать. Вшестером мы выкурили сигарообразную папиросу из табака-самосада, завернутого в обрывок газеты, и побрели дальше по снежной целине.

К утру метель утихла. На рассвете стали яснее видны запорошенные лошади, возчики, похожие на снежных баб. Прекратилась поземка. Барханы снега, сугробы с ломаной линией гребней лежали кругом, насколько видел глаз.

Мы заметили вешку. Она накренилась в подветренную сторону и резко чернела на снегу. Вскоре показались овины, дома, занесенные до самых крыш. Это была небольшая деревенька в семи километрах от села, из которого мы выехали вчера после обеда.

С белыми, как бы распухшими плечами мы едва влезли в дверь избы. Встряхивались и топали в сенях, и снег сваливался с нас пластами. Возчики обирали с бород и

усов сосульки и бросали их на пол. В теплом надышанном воздухе избы снимали с себя чепаны, тулупы; прямо на лавки, как дома, набрасывали ворохами меховые одежды, шарфы, шапки, совали мокрые варежки и рукавицы в печурки, снимали валенки, ставили их на русскую печь и босиком ходили по полу. Вся изба наполнилась одеждой. От покрасневших, исхлестанных вьюгой лиц и рук шел пар. Пар валил от самовара и от караваев хлеба, только что вынутых из печи.

Мы были радостно возбуждены после борьбы с метелью. Никто не говорил о том, что мы могли заплутаться в степи, замерзнуть, и наше хорошее настроение передалось хозяевам избы. Шел громкий, веселый разговор о каком-то Степане, взявшем невесту в соседнем селе. Кто растирал голую грудь, кто расчесывал перед зеркальцем свалевшиеся волосы. Хозяйка нарезала большие ломти хлеба, от которых шел парок, поставила на стол ведерный самовар, глиняный горшок простокваши, горшок с вареными яйцами. Возчики достали из мешка три копченые рыбы. Хозяин принес бутылку самогона «первача» и налил его в стаканы. Выпив по стакану самогона, съев две рыбы и почти весь хлеб, опорожнив горшок с яйцами, выхлебав деревянными ложками простоквашу, принялись за чай.

— Вот только заварить нечем! — с сожалением сказала хозяйка.

Я достал из сумки пачку «малинового напитка» три куска сахара, полученных по резолюции губпродкомиссара на двенадцать суток по моему командировочному удостоверению.

Хозяин заинтересовался мною:

— Вы из Москвы, товарищ? В Петрограде вам случалось бывать? А я бывал в Петербурге, и в Царском Селе, и в Кронштадте в японскую войну. Своими глаз

ми, вот как вас, видел отца Иоанна Крошштадтского. Как ваше мнение, действительно он творил чудеса? Наверное, врут!

Стараясь не очень оживляться после выпитого самогона, я стал говорить о том, как подстраивались «чудесные» исцеления, и хозяин кивал головой. Он как будто старался мне поверить.

— Я тоже так полагаю, басни все это,— сказал он, но по лицу его я видел: «А может быть, и правда?»

Тем временем хозяйка нашла щипцы и мелко, на кусочки величиной в горошину, нащипала на ладони сахар. Заложив за щеки по кусочку сахара, мы выпили — некоторые по шести, а некоторые по восьми стаканов чая. Хозяин несколько раз вытирал лицо и шею полотенцем. На красных лицах возчиков пот высыпал, как роса; казалось, у них были мокры не только носы, губы, щеки, но и глаза. Их рубахи потемнели на плечах и на груди.

Я заснул, сидя на лавке, а проснулся на печи и не сразу понял, что это, ночь или день, и где я, и какой теперь месяц и год, и сколько времени я проспал? На полатах и на печи рядом со мной храпели возчики. Хозяйка растопляла печь.

— Который час? — спросил я, поднимая голову.

— Рано, коров только что подоила. Спи! — сказала хозяйка.

В полушубке, накинутом поверх исподнего белья, вошел старшой обоза.

— Как погода? — спросил я.

— Вызвездило, прояснило совсем.

— Скоро утро?

— Самое и есть утро.

— Будем запрягать?

— Вряд ли придется сегодня ехать. Сильно притомпись кони. Посмотрим еще, как погода.

Обедали в тот день поздно, при свете каганцев. В дыдыдолбленные репы было налито подсолнечное масло. Потрескивая и плавая в нем, горели фитили из пакля. Мы съели еще рыбу из запасов возчиков, сушеную козью ногу из моего пайка, ели щи с мясом, творожники, пирог «вечерышник», парное молоко.

До чего же обильно живут в этих краях! Я стал рассказывать, как голодают у нас в Иванове, как останки заливаются фабрики.

Хозяйка вздохнула:

— Ситцевые фабрики закрывают, значит, будем голые ходить? А почему керосин не представляют, который год уж бьемся без керосина? Неужели и его надо вырывать? Слышала я, он прямо из земли родится?

Я стал говорить о транспорте, о нефтяных источниках, захваченных интервентами.

— Мы и идем воевать за то, чтобы отобрать нашу нефть, наш хлопок, — объяснил я.

И хозяин и возчики слушали меня с интересом. Лежа в тот вечер спать, я чувствовал себя отчасти удовлетворенным. День не совсем пропал даром.

И еще раз я проснулся в той же избе. Светильник репы освещал стол, выскобленный ножом и вымытый горячей водой. От стола поднимался парок. Хозяйка вошла в снег, с подойником, прикрытым домотканым холстом.

— Несет — свету белого не видно! — сказала она.

Старшой проснулся и, надев валенки на босу ногу, набросив полушубок на плечи, вышел во двор.

— Метет, несметная сила! Из села не выедешь, — сообщил он, вернувшись.

— Надо ехать!.. — сказал я.

— Куда же ехать? В десяти шагах человека не пройти. И лошадей поубиваем и сами пропадем.

Я вышел во двор. Дверь из сеней было трудно от-  
крыть. Во дворе все свистело, гудело. Ветер срывал с  
меня шинель. Глубокий ход в сугробах, прорытый к ко-  
лошине, завалило снегом. Я вернулся в избу. Со скрипом,  
с ханьем захлопнулась за мной дверь.

Я сел на лавку. Ветер выл в трубе. В тепле и спертom  
воздухе храпели возчики. Хозяин избы сидел под образа-  
ми, расплетал и снова сплетал ременный кнут. Старшой  
поза, положив руки на стол, позевывал и смотрел в  
окно.

Я решительно заявил ему:

— Надо ехать! Во что бы то ни стало! Ведь война  
идет!

— Отдыхайте, ничего. Вы мне не в тягость. У меня  
ста всем хватит,— сказал хозяин.

— Подождем до обеда. Может, немного утихнет,—  
сдавался старшой.

В сенях послышались шум и топот ног. Открылась  
ленькая, обитая войлоком дверь, и, сгибаясь почти по-  
лам, чтобы не стукнуться головами о притолоку, оку-  
ренные клубами пара, в избу вошли Фрунзе, начальник  
отряда армии Новицкий, адъютант штаба Сиротинский.

— Ты еще здесь? — увидев меня, удивился Фрунзе.  
Вокром полушубке он стоял среди избы.

С полатей стали, откашливаясь и закуривая, слезать  
возчики.

— Как дорога? — спрашивали они, и возчик Фрунзе  
быстро махал рукой.

Хозяйка, гремя трубой, ставила самовар.

— Не надо, спасибо, мы сейчас поедем,— заявил  
Фрунзе.

Наш старшой вполголоса сказал мне:

— Если они поедут, и мы следом как-нибудь поти-  
хоньку доберемся.



Он пошел со своими товарищами запрягать лошадей. Снег во дворе завывало воронками и бросало нам в лица. Лошади казались седыми. Возчики спорили; тот что вез Фрунзе, хотел ехать сзади.

— Мои лошади сильно притомились, — говорил он.

— Зато у тебя поменьше клади, — возражали ему.

Хозяйка стояла на крыльце в развевавшемся по ветру легком платье.

— Выезжайте через огороды, напрямиком, — советовали хозяин.

Кибитка, в которой ехал Фрунзе со штабными работниками, поднялась на снежный вал, наметенный около двора, и провалилась в ухаб, еле видная уже за сеткою вьюги. Мы двинулись вслед.

Вот с такими дорогами, с такими транспортными средствами нам предстояло воевать с противником, захватившим больше половины нашей страны, воевать генеральными штабами могущественнейших государств мира!

## 6. ПОБЕДЫ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ

Проходил февраль, а мы, ивановцы, еще не участвовали ни в одном бою. Молодые ребята в поезде всю дорогу пели, а перед Самарой заволновались, задолго до станции начали собираться. Им казалось, едва они выйдут из вагона, как тут же с винтовками наперевес пойдут в бой. Однако штаб армии готовился к боям без нервозности, методично. Молодые красноармейцы изучали приемы штыкового боя, перебежку, защиту от конницы. Формировались части, создавались базы снабжения, шла переброска продовольственных грузов.

Меня посылали из штаба то на базы для переписки потников, то для политбесед с призывниками, приби-

ми из Рязани и Пензы, то, как ефрейтора старой жбы, Фрунзе брал меня на станции Кинель и Тол для проверки воинских знаний младшего комсоста. Когда я возвращался из поездок, Михаил Васильевич бовал от меня подробных рассказов и сердился, если гвечал: «Не помню. Не заметил». — «Надо быть на- рдательнее. Вести записи, как Фурманов».

Фурманов не расставался со своей записной книжкой. же председательствуя или секретарствуя на собраниях, глядывая чье-нибудь лицо, заинтересовавшись чьим- о выступлением, он отрывался от протокола, от списка торов, доставал свою записную книжку и делал в ней етки.

Было любопытно взглянуть, что он отмечал там. Ино- я просил:

— Покажи, чего ты там рисуешь?

Смущаясь, он отвечал:

— Это записи для себя. Ты не разберешься.

И в самом деле: в его книжке трудно было что-нибудь ять.

Какие-то иероглифы, слова из двух-трех букв, круж- подчеркивания, восклицательные знаки. Иногда было же на математическое уравнение: « $N$  и  $X =$  перевоз- / Тюлину».

— Так ты сам ничего не поймешь, — говорил я.

Но он прекрасно разбирался в своих записях и все ное ему быстро находил.

Не знаю, была ли у него это привычка к записям с тва. Мне кажется, если и была, то особенно она раз- сь за то время, когда Фурманов работал вместе с нзе.

Фрунзе реже, чем Фурманов, пользовался записной ккой. У него была исключительно ценная память. Он охарактеризовать человека, мельком встреченного

много лет назад, мог пересказать книгу, прочтенную пятнадцать — двадцать лет назад. Когда мы удивлялись его памяти, он говорил с досадой:

— Любой человек может развить свою память. Стоит лишь запоминать то, что нужно, забывать то, что не нужно. И, узнавая новое, стараться связать его с тем, что уже знаешь.

Учился он, пользуясь каждым случаем. В поезде по дороге в Самару он полушутя-полусерьезно задавал нашим бывшим кадровикам царской армии, «каверзные» вопросы, проверяя, хорошо ли мы знаем уставы строевой и полевой службы. И сам проверял, вероятно, себя: хорошо ли он усвоил уставы. Сибиряки вспоминали: в ссылке, в селе Манзурка Иркутской губернии, Фрунзе перед картою с флажками часто предсказывал, что предпримет в ближайшее время германский штаб и как ответит на это русское командование. Проходили дни, недели, и предсказания Фрунзе сбывались. Говорят, уже в то время он читал военную литературу на русском, английском, немецком, французском и итальянском языках.

К военному делу он подходил как партийный работник. Помню, сильно озадачил он командира, явившегося к нему с докладом из-под Уральска, вопросами:

— Какие земельные наделы у крестьян под Уральском? Какие преобладают промыслы? Какой процент грамотных среди деревенской бедноты?

Ни на один из этих вопросов командир не смог ответить.

— Как же вы воюете? — с удивлением спросил Фрунзе.

В те дни на Восточном фронте командиры нередко вступали со своими частями когда и куда им заблагорассудится. Получив приказ, начинали его обсуждать, ставя условия: «Пусть выступит сначала соседняя часть, а п

том мы». Самочинно занимали составы на железных дорогах, садились с ручной гранатой на паровоз и заставляли железнодорожников вне всяких графиков пускать полупустые составы. Безучастно смотрели, как бойцы рубили на топливо железнодорожные щиты и запасы шпал.

Некоторые бывшие командиры партизанских отрядов, героически защищая свои деревни, отказывались выполнять приказы о передвижениях и перебросках: «Будем защищать родные места, а дальше ни шагу!»

Помню, проезжая через село, я прочитал вывеску: «Даниловский совнарком». Это было воспоминание о недавно существовавшей здесь «Даниловской республике». Территория ее тянулась от околицы до околицы.

В Пугачеве мне пришлось двое суток прожить с Сеней Рублевым, батальонным командиром полка Стеньки Разина. Нас вселили по ордеру в дом вдовы ветеринарного инспектора. Она отвела нам чистую, солнечную комнату. Я пошел по делам, а когда вернулся, Рублев уже лежал на единственной постели, на матрасе, на чистой простыне, накрытый стеганым одеялом, пышным, словно пирог на пирожках. Загорелое лицо Рублева с оттопыренными губами было от удовольствия, окруженное, как венчиком, брызгами наволочками. Выложив руки на розовое одеяло, понавшись на сетке кровати, показав, как она пружинит и скрипит, он сказал:

— Как буржуй устроился! Как граф!

У меня болела голова, я стал стелиться на сундучке, но, что Рублев даже не посмотрел, как я стелюсь, не спросил ли мне, есть ли у меня подушка, а продолжал с привычной улыбкой покачиваться на кровати, показалось мне очень не по-товарищески. Я обиделся на него.

Потом, когда наконец улегся на сундучке, мне стало легче. Мы погасили лампу, и мне становилось все более спокойно.

и более смешно, настолько, что я засмеялся в темноте.  
Рублев спросил с тревогой:

— Ты что?

Он был очень неловкий: едва мы вошли в комнату, он тут же опрокинул горшок с цветком на подоконнике, отбил край горшка, приставил его, словно в надежде, что он прирастет. Увидев, что черенок не прирастает, рассердился, хотел выбросить цветок в окно, с трудом я его остановил.

Утром, проснувшись, я увидел, что моя расческа, которую я пронес через все фронты, поломана: в ней не хватало двух зубцов.

— Ты причесывался? — спросил я.

Рублев вызывающе сказал:

— А что?

Я промолчал.

— Знаешь, Ершов, — рассердился он, — во мне гораздо больше коммунистического, чем в тебе! Тебе жалко расчески? Да я тебе их десяток могу принести! Так я помню товарищество.

— Ты думаешь, — спросил я, — товарищество — это значит что ни попало хватай, порть, ломай?

До вечера мы не разговаривали. Вечером он вдруг сказал:

— Ложись на постель, сегодня твоя очередь.

Мне опять стало смешно, и я ответил:

— Да ничего, все равно. Я уже привык на сундуке.

— Ложись, — настаивал он, — ты увидишь, как тут мягко, хорошо.

Мы улеглись, какое-то особенное дружелюбие почувствовали друг к другу и проговорили до утра. Я рассказывал, где бывал, как сидел в тюрьме, что за город Иваново, что за человек Фрунзе. Рублев слушал меня с жадностью, словно завидуя мне.

— А я в Варшаве служил, в драгунском полку, — сказал он. И стал рассказывать, как там ходит трамвай с белыми занавесками и растут цветы на площадях, и какие там есть улицы — сплошь под стеклянной крышей, пруды и парки в середине города, а в прудах плавают лебеди.

Даже в темноте я чувствовал — Рублев радуется, что я не смеюсь над ним, что мне все это интересно. Утром он сказал:

— Ершов, просись комиссаром ко мне в батальон.

Вот такие странные, хаотичные люди порой командовали тогда красноармейскими частями.

Когда Фрунзе впервые приехал в Уральск, его никто не встретил. На заставе не отдали рапорта, не вызвали караульного начальника. Лениво посмотрели документы и сказали:

— Езжай!

Словно частное лицо, словно путник, загнанный непогодой, он ехал в своей кибитке по улицам Уральска мимо восьмиконных домов с закрытыми ставнями, мимо калиток с железными кольцами, под многоголосый собачий лай.

То там, то здесь в городе слышалась стрельба. Это от нечего делать караульные палили в небо. В распахнутых шинелях, с гармошками, по улицам ходили красноармейцы и пели «саратовские страдания»:

Моя милка семь пудов  
Не боится верблюдов.  
Она меня так и носит:  
— Золотой мой, золотой! —  
На жакетку денег просит,  
Я ручаюсь головой..

Многие красноармейцы были в кожаных куртках, в новых хромовых сапогах. Вступив в Уральск, бригада

Плясунова захватила на складах запасы кож и поделила их между бойцами и командирами.

Фрунзе приказал собрать бригаду на смотр. В назначенный день на соборную площадь стали стекаться бойцы. Неровным строем, в шинелях без поясов, со штыками на разных уровнях.

В рыжем натоптанном снегу, под крик галочных стай, сошвавшихся с соборной колокольни, вблизи от базарных рундуков, части стали строиться. Иные роты явились с опозданием на полчаса. Один из командиров увел свой батальон, не дождавшись конца смотра. Он заявил:

— Холодно, и не к чему тут без толку торчать.

За все время смотра Фрунзе не произнес ни слова. После смотра он сказал командирам:

— Состояние бригады считаю безобразным. Это толпа, а не войско! Ответственность за это несете вы. Объявляю строгий выговор всем командирам и комиссарам.

Насупившись, в недобром молчании, командиры и комиссары разошлись. Наутро Фрунзе прислали бумажку с нарочным:

«Командарму 4. Предлагаю вам прибыть в 6 часов вечера на собрание командиров и комиссаров для объяснения по поводу ваших выговоров нам за парад. Комбриг Плясунов».

Михаил Васильевич отправился на это собрание.

Поехал вдвоем с адъютантом, без оружия, без провожатых. Когда он вошел в комнату, где собрались командиры и комиссары бригады Плясунова, никто не встал. Некоторые, увидев Фрунзе, злорадно пробурчали:

— Ага!

Не присаживаясь, не здороваясь, Фрунзе сказал:

— Я присутствую здесь не как командующий армией, а как член партии. Командующий армии не может быть на таком собрании. Как член партии, пославшей меня на

работу в армию, я заявляю вам: ваше собрание и вызов являются преступными. Вы хотели меня запугать? Царское правительство дважды приговаривало меня к виселице. Вы видите, я пришел к вам без оружия, — сказал он, распахнув полушубок. — Подтверждаю все свои выговоры и замечания, сделанные на параде, и заявляю вам: если вновь отмечу случаи нарушения дисциплины, буду карать беспощадно, вплоть до расстрела. Нарушая дисциплину, вы разрушаете армию. Советская власть этого не допустит!

Раздались возмущенные выкрики. Командиры заговорили наперебой. Фрунзе повернулся и, не оглядываясь, пошел к выходу.

Поздно вечером на квартиру Фрунзе явился Плясунков.

— Что скажете? — спросил Михаил Васильевич. Он встретил Плясункова стоя.

— От лица собрания я прошу вас извинить за наш поступок.

— Вы — командир, вы должны вести и воспитывать людей, а не быть флюгером дезорганизаторских настроений. Что вы можете сообщить мне не от чьего-то, а от своего лица? Есть у вас, у командира бригады, свое лицо?

Плясунков не нашелся что ответить.

— Вы знаете о битве при Вальми? — смягчившись, спросил Фрунзе.

— Нет, не слышал, — ответил Плясунков.

— Там впервые армии старой Европы встретились с войсками французской революции. Реакционные генералы рассчитывали встретить дезорганизованный, бестолковый сброд, а увидели перед собой сплоченные, дисциплинированные колонны солдат. И не решились вступить в бой. Умные люди считают, что это была самая главная



победа революции. Я знаю, что говорят ваши командиры: что они храбрыцы, взяли у белых Уральск и пусть дали маху на смотре, зато не подкачают в бою. Я обязываю вас, как комбрига, объяснить им: это вреднейшее заблуждение! Люди, которые хотя бы в мелочах выполняют приказанья с прохладцей, с развальцей, неизбежно обречены на поражение. Я обязываю вас объяснить всем: когда боец внутренне осознает необходимость дисциплины, это сказывается во всем его быту, в любом его поступке. Даже во внешности!

— Я разъясню им,— обещал Плясунков.

— Приказываю вам,— продолжал Фрунзе,— в трехдневный срок собрать все кожи, которые вы растащили при занятии города.

— Слушаюсь! — сказал Плясунков.

Лишь через семнадцать дней после того, как он принял армию, Фрунзе начал первое наступление. Неподдалеку от Уральска, у Шапова, два полка должны были, по плану штаба, ночью внезапно ударить по белоказакам.

Ночью несла пурга, командиры собирались до рассвета и выступили лишь к утру. Внезапность удара была сорвана. Подъезжая к району боя, Фрунзе заметил: каждого раненого красноармейца сопровождали в тыл два-три здоровых бойца.

Артиллерия била вслепую, не видя противника, ориентируясь по компасу и по карте. Пулеметчики открывали огонь по одиночным фигурам конных казаков.

Поднявшись на колокольню деревенской церкви, Фрунзе делал пометки в своей записной книжке. Неподдалеку от колокольни ложились неприятельские снаряды. Белые стреляли, пользуясь хорошими наблюдательными пунктами. В самом начале боя у нас вышли из строя несколько орудий и пулеметов. Они не были осмотрены.

их не привели в порядок перед началом наступления. Наступление пришлось отменить.

Анализируя причины неудачи, Фрунзе говорил на совещании командиров:

— Командиры должны лично проверить перед боем готовность орудий и пулеметов. Артиллерийский обстрел не следует вести по карте; пусть командиры артиллерии не ссылаются на то, что у них точные трехверстки на пеньковой бумаге. Как бы точна ни была карта, стрельба будет более эффективной, если корректировать ее с наблюдательных пунктов.

Возьмем за правило, — продолжал он, — не открывать огня из пулеметов по одиночным мишеням, пользоваться пулеметами лишь для обстрела больших масс противника. Не отрывать здоровых людей во время боя. Когда я встретил красноармейцев, с винтовками сопровождавших легкораненого, и объяснил, что нельзя отлучаться во время боя, раненый вызвался сам дойти до перевязочного пункта, а бойцы отправились на передовые линии. У нас хорошие люди, нужно только правильно руководить ими, — заключил Фрунзе.

Через несколько дней, ночью, под прикрытием метели, белоказаки налетом на деревни Чернухино и Железново разгромили два батальона Пензенского полка, захватили орудия, пулеметы, повозки, воинское имущество, убили, ранили и забрали в плен сотни наших бойцов.

Приказом по армии оповестив всех об этом случае, Фрунзе еще раз напомнил: заняв хутор или деревню, расположившись на ночлег по домам, не только выставлять крепкие боевые охранения, но и преграждать все входы в деревню.

«Батальоны Пензенского полка, — говорилось в приказе, — разгромлены по своей небрежности, из-за своей преступной халатности».

## 7. В ШТАБЕ АРМИИ

Самара тех времен была унылым прифронтовым городом. Большие изрытые пустыри, обнесенные рваной колючей проволокой. Хмурые деревянные домишки с прикрытыми ставнями. До утра не затихавший хриплый собачий лай. Какне-то подозрительные люди в полувоенной одежде, с нагруженными санками и мешками, возникали вдруг среди сугробов и, озираясь, исчезали в переулках. Запасные пути на станции были забиты составами, занесенными снегом.

В политотделе армии, в холодных комнатах с промерзшими окнами посетители стояли или сидели на подоконниках и столах. Небритые работники политотдела окоченевшими пальцами закручивали махорку в обрывки газет и прикуривали друг у друга.

Стиль работы был такой: слушает тебя человек и вдруг, в середине разговора, начинает звонить по телефону. Потом, схватив со стола какую-то бумажку, словно только что увидев ее, бегло прочитывает, швыряет и говорит: «Да, да, я вас слушаю».

Один из работников политотдела мне говорил:

— Здесь еще ничего, а знаете, как отступали под Пермью? Декабрь, мороз такой, что птицы застывают на лету, а многие бойцы в лаптях. Хлеба не подвозили суток по пять, патронов почти не было. Люди обессилели и потеряли надежду до того, что иной падает в снег и просит: «Не могу дальше идти, товарищи. Устал. Кончайте со мной, пристрелите или приколите».

А сдача Перми? Вывозили ненужные бумажонки, поломанные стулья, а сотни исправных паровозов, тысячи вагонов, санитарный поезд с ранеными, склады топлива, металла, продовольствия — все бросили! Больше двадцати орудий с упряжками оставили белым без одного

выстрела. Заминировали мост через Каму, а взорвать не успели или не захотели — черт разберет! Город слаби, можно сказать, без боя, а потеряли при этом двадцать тысяч бойцов! Что это — глупость или измена?

Трудно было разобрать в той запутанной обстановке, где кончается глупость и где начинается преступление. Низкий уровень культуры, отсутствие дисциплины, слабая политическая работа с людьми, слабость кадров, саботаж, шпионаж — все сплелось в один клубок. Даже в штабах армий и фронтов работали случайные, неподготовленные, плохо проверенные люди.

Был у нас в Самаре деятель с пышным титулом: «Чусоснабарм 4, Грущанский». Чусоснабарм — это значит: чрезвычайный уполномоченный по снабжению армии. Человек с университетским образованием, бывший помощник присяжного поверенного, Грущанский по тем временам слыл работником весьма культурным. Бывало, слушаешь его; все как будто неглупо, литературно, гладко, временами даже остроумно. Но, дослушав до конца, никак не можешь вспомнить, о чем он говорил? Он играл словами и понятиями. Почти каждая новая его мысль лишала смысла мысль предыдущую. Громкие, как будто с напором и с пафосом высказанные предложения его обычно вызывали раздумье: «Да полно, стоит ли вообще браться за это дело? Что-то ненадежное, неопределенное».

Вот образец выступления Грущанского:

«Товарищи, мы много сделали для упорядочения дела снабжения. Со всей революционной решительностью мы поставили этот вопрос в порядок дня и, конечно, не щадя сил, добьемся его положительного решения. Поскольку это зависит от нас, от нашей доброй воли, мы сделали многое, но кроме трудностей, так сказать конъюнктурных, здесь есть препятствия, зависящие от более глубоких

причин, от социальной структуры страны. Но мы прежде всего революционеры! Предложение товарища Фрунзе о создании глубинных продовольственных баз я считаю правильным. Однако здесь существует опасность: переместив центр внимания на глубинные базы, мы тем самым, вольно или невольно, ослабим заботу о наших геронческих фронтовиках. Есть, я не скажу — неизбежнад, но вполне конкретная опасность, что вместе с водой мы выплеснем из ванны и ребенка».

Фрунзе обычно выслушивал Грущанского с кажущимся спокойствием и продолжал обсуждение вопроса с того самого места, где вклинилась речь Грущанского, как если бы она была посторонним шумом. Когда Грущанский настаивал на своих требованиях, Фрунзе сдержанно отвечал:

— Я не могу принять ваши замечания как директиву. Я вынужден запросить Москву.

Немало было сплетников, паникеров, шептунов. Подойдет, бывало, некий товарищ в военной форме и говорит вполголоса:

— А ведь провалился у нас в волостях сбор теплых вещей! Не хотят мужички давать фронту валенки и рукавицы!

Назавтра тот же тип нашептывает:

— Плохие дела на Севере. Англичане и американцы высадили еще десант. А на Дальнем Востоке японцы продвигаются.

В этой сложной, запутанной обстановке Фрунзе и члены Реввоенсовета Куйбышев пока что тщательно изучали и подбирали людей. Исчез куда-то из Самары Грущанский. Менялся постепенно состав работников в штабе армии.

Сейчас, вспоминая о работе Фрунзе в армии, некоторые говорят: «Он не любил сидеть в штабе». По-моему, это неправда. Верно то, что его далеко не всегда можно

было найти в штабе. Привычка командиров приукрашивать действительность в донесениях и ложь бессознательная, от недостатка осведомленности и внимания, — все это заставляло Фрунзе то и дело выезжать и лично знакомиться с положением на местах. Каждый раз в нем вызвали раздражение недостаток точности, пышные общие фразы в донесениях. Он учил командиров, составлял для них примерные рапорты. И снова ездил сам, мотался по ухабам и жаловался на потерю времени в пути.

Мне кажется, наиболее хорошее настроение было у него, когда ему удавалось на несколько часов сосредоточиться за своим столом, разобрать, обобщить материалы с мест, составить подробную инструкцию, отдать несколько вытекающих одно из другого распоряжений по телефону и телеграфу, вдумчиво, в тишине, поговорить с людьми. И у всех в штабе было тогда ровное приподнятое рабочее настроение.

Можно увлечь человека доводами пылкой речи, пристыдить его до слез, взвинтить руганью и угрозами. Но через несколько дней или даже несколько часов все опять войдет в свою колею, и снова этого человека надо будет подогреть. В противоположность многим тогдашним командирам Фрунзе никогда не шумел, не кричал, не топал ногами, не хватался за оружие. Одно сознание, что он сидит за стеной, все видит, все знает и сам работает, не жалея себя, создавало и подъем и уверенность у его сотрудников.

О Фрунзе говорили: «Ему докладываешь, а он подсказывает». Да, нередко бывало, что он знал больше приехавших к нему с рапортом о положении на их участке фронта. «Сначала изучите, потом действуйте», — говорил он людям.

Каждая минута в штабе приносила новое. В коридоре навалено обмундирование. Из окна видны подводы — это

военный обоз с овсом. Звонит телефон, сообщают с вокзала, что закончена погрузка Интернационального полка. Является командир, рапортует: мусульманский батальон закончил строевые учения. Курьер с папкой сдает по расписку пакет губернского комитета партии: шестьдесят девять коммунистов выделены уездами по дополнительной мобилизации. Заслышав шум у подъезда, выходит из кабинета Фрунзе. Его лицо как бы говорит: «Вот видите, еще что-то хорошее произошло».

Последовательно, шаг за шагом, он сосредоточил в руках командования и работу политическую, и работу административно-хозяйственную, и управление тылом.

Сотни назначений в армии делались им лично. Решать приходилось очень быстро.

Вот сидит в кабинете незнакомый Фрунзе человек. Михаил Васильевич внимательно смотрит на него, задает вопросы. Тот отвечает. Знаешь, что Фрунзе известно все это, но он все-таки слушает, и видишь — не эти сведения, а сам человек, его тон, гибкость его ума, его мера искренности, его характер, манера себя держать интересуют Фрунзе.

Через полчаса к машинистке относят новый приказ о назначении. Иногда казалось, Михаил Васильевич слишком быстро доверяется людям. Время показывало потом — он редко ошибался в своих оценках.

## 8. ЧАПАЕВ ПРИЕХАЛ

Однажды Фрунзе доложили:

— Приехал из Москвы Чапаев, просит его принять.

По комнатам штаба быстро разнеслось:

— Чапаев приехал!

Даже машинистки бросили работу и с любопытством стали выглядывать в коридор.

О Чапаеве ходило множество анекдотов и слухов. Судя по этим рассказам, можно было представить: сейчас ввалится шумный, болтливый, лохматый партизан, с хриплым басом, в гимнастерке, расхристанной до пуга, и сядет на стол, на пол или еще что-нибудь в этом роде.

И вот появился стройный, красивый человек, свежесбритый, с тщательным пробором в приглаженных волосах, в хорошо пригнанной, почти щеголеватой одежде; самый подтянутый, самый нарядный из всех, кто был в тот момент в штабе. С безупречной выправкой став во фронт перед Фрунзе, негромким, очень тонким голосом он отрапортовал:

— Чапаев! Явился в ваше распоряжение.

— Садитесь, — сказал Фрунзе.

Скромно, не отрывая глаз от Фрунзе, Чапаев сел. Дверь в кабинет захлопнулась и не открывалась долго.

Жизнь Чапаева складывалась трудно, начиная с детства.

Родители не дали ему образования, приучили его к полевым работам и к уходу за скотом, посылали торговать на базар. «Когда я торговал, — рассказывал о себе Чапаев, — видел, как бессовестно люди обманывают друг друга». В семье учили его честности, умеренности. Он не курил, не пил даже в веселой дружеской компании, даже «с мороза» отказывался от рюмки водки. Всю жизнь он со стыдом вспоминал, как в детстве взял не принадлежавшие ему две копейки.

Самочкой он выучился читать. Его захватили книги о героях прошлого: о Ганнибале, о Суворове, о Гарибальди. Ему нравились рассказы о мужестве, о верности, о



сильных характерах. Пятнадцатилетним подростком он ушел из деревни Вязовки, скитался по городам и селам Поволжья, плотничал, малярничал, был бродячим шарманщиком.

Он рано женился: у него уже было двое детей, когда его призвали в царскую армию. Он не забывал о семье и в боях; часто писал письма жене, спрашивал о детях. Полтора года, в обстановке свободных прав прифронтовых городов, он чуждался женщины, не любил солдатских «соленых» разговоров, Потихоньку, за глаза, уже тогда узнав его вспыльчивый характер и побаиваясь его, товарищи прозвали его «девушкой».

Его героизм, находчивость, хладнокровие в бою создали ему славу еще в старой армии. Уже тогда его награждали много раз, отмечали в приказах. Без образования, без связей и протекции, со своим открытым, резким характером, создавшим ему множество врагов, он тем не менее в короткий срок прошел в царской армии путь от рядового до прапорщика.

Он быстро определял людей, под начальством которых служил. Бездарные командиры, державшиеся на своих местах лишь в силу дворянского происхождения и связей, карьеристы, пробивавшие себе дорогу не боевыми качествами, а подлизыванием и подсиживанием, высокие руководители, которым важно было не то, что происходило на фронте, а то, как это выглядело в донесениях, люди, кричавшие о защите родины и паживавшие миллионы на солдатском приварке,— еще до знакомства с революционной теорией Чапаев ненавидел их всем сердцем.

Начав службу как точный, исполнительный боец и командир, Чапаев к концу империалистической войны разочаровался во всем. Он думал о самоубийстве. Без всякой надобности он вылезал из окопа под обстрел, и лишь случайно пули «не находили» его. Его тогдашние

друзья внушали ему: «Все на свете трын-трава, жизнь — копейка!» И временами ему самому казалось, что это так и есть.

«Когда я прочитал программу коммунистов — я обрадовался, — рассказывал о себе Чапаев. — Вспомнил, как рос, как торговал, как обманывали друг друга люди, какие подлости творились на фронте. Большевики хотят это устранить, подумал я, значит, можно это устранить. Кое-что я не понял в программе, но главное, мне кажется, понял».

Но если все на свете можно изменить, так давайте же скорее изменять! — такой, вступив в партию, видел он теперь свою жизненную задачу.

В нем была страстная сила стремления к будущему. И он воспринимал как личную обиду, когда такой же силы стремления не находил в других.

Минута, потерянная без дела, жгла его. В особенности раздражало Чапаева, когда люди образованные, знавшие больше, чем он, не делали того, что могли бы делать.

Ему говорили:

— Нельзя требовать, чтобы все были о восьми головах!

Он отвечал:

— Каждый может понимать! Только не каждый хочет понимать. Как же я ничего не знал, я человек неученый, а захотел и стал понимать? Если бы каждый захотел, каждый стал бы понимать!

Он был горяч, порой обижал даже близких, преданных ему людей. Тем не менее они любили его. И каждый, в ком была хоть искра жизни, не мог не привязаться к нему. Если он что-либо продумал, решил, что это будет полезно для революции, он готов был бороться за это до конца, идти на смерть, на ссору с лучшими друзьями.

Люди, ставившие свои личные цели выше всего, ненавидели его. Он поминутно сбивал их с толку, всегда чего-то требовал от них. Им было очень неудобно с ним, неуютно жить.

Даже когда он просто сидел в штабе, со своим нервным, подвижным лицом, ежесекундно менявшим выражение, со своей непоседливостью и постоянным умственным и моральным напряжением, — даже в безмолвном состоянии он тревожил их.

Его направили учиться в Военную академию в Москву.

В Академии, на приемном испытании, старый, опытный военный специалист предложил ему:

— Покажите Рейн.

Стоя у слепой карты, Чалаев шарил взглядом около Пиренеев и молчал.

— Не знаете? — спросил экзаменатор.

— Не знаю, — ответил Чапаев, положив указку.

— А что вы знаете?

— Солянку.

— Какая солянка? Что это такое?

— Река.

— Такой реки нет!

— Такая река есть! Я там воевал! Я ее завоевал! — воскликнул Чапаев.

Выйдя с экзамена, он несколько часов ходил по Москве, потом вернулся в общежитие ЦК партии, в 3-м доме Советов, и стал укладывать в чемодан белье и книги. Его соседи не решались спрашивать его о чем бы то ни было. Им казалось — он так озлоблен, что вот-вот бросится на кого-нибудь. Вдруг он вынул все из чемодана и опять на много часов отправился бродить по Москве.

Это был кризис. Он решил учиться. Новая книга поражала его до такой степени, что иногда в полночь он будил

товарищей, удивляясь: как они могут спать, когда так пишут, когда на свете творятся такие вещи?

Горячась, размахивая руками, он пересказывал им содержание только что прочитанной книги. Его интересовали не только политика и военная наука, но и физика, химия. С увлечением читал он книги о том, как устроено радио, телефон, телеграф, трамвай, автомобиль, водопровод.

Однажды к нему приехал земляк из Вязовки. Едва увидев его, Чапаев потащил его в кубовую и показал физический опыт. Закрыв бумажкой налитый водой стакан и опрокинул его в воздухе. Вода не проливалась. Чапаев радовался, как ребенок, видя, насколько это поразило земляка, и несколько раз повторил опыт со стаканом.

Он учился, но внимательно следил за всем, что делалось на Восточном фронте, расспрашивал каждого приезжавшего оттуда. Известие о новом командарме взбудоражило его. Он не знал Фрунзе, не видел его никогда в жизни, ничего о нем не читал. Настойчиво, у кого только мог, он собирал о нем сведения.

Он не много сумел узнать: обрывки рассказов о деятельности Фрунзе в Шуе, о его поведении перед царским судом. Но и то, что услышал Чапаев, расположило его к новому командарму. Он добился отчисления из академии и откомандирования к Фрунзе. С Фрунзе были связаны теперь все его надежды.

Затворившись в кабинете, они проговорили с глазу на глаз больше часа. В тот же день было оформлено назначение, вызвавшее немало опасений в штабе. Фрунзе еще до разговора с Чапаевым создал в Александрове-Гае группу для удара во фланг и тыл белоказакам. Командиром этой группы он назначил теперь Чапаева.

В двухстах пятидесяти километрах от штаба, при плохих средствах связи на самом ответственном участке

фронта руководителю группы предстояло действовать почти самостоятельно. Он должен был стать правой рукой командующего армией.

И вот на этот пост Фрунзе назначил человека, которого видел впервые в жизни!

Чапаев не меньше других понимал ответственность назначения. Ни часа не медля, можно сказать, прямо выйдя из кабинета Фрунзе, он отправился в Александров-Гай. Первым, кого он встретил там, был Фурманов. Назначая Чапаева командиром группы, в том же приказе Фрунзе отметил:

«Комиссаром группы назначается Дм. Фурманов».

Это было сочетание двух характеров, взаимно дополнявших, уравновешивавших друг друга.

Что сказать о Фурманове? Миллионы людей знают его по его книгам.

У каждого из нас бывает хоть однажды за много лет утро: выходишь на крыльцо, видишь улицу с лужами, дерево с голыми ветками, бревенчатые стены, освещенные солнцем. И вдруг покажется, что с этого утра и начинается все на свете. Хочется петь, кричать от радости, кажется, что даже сидеть вот тут на крыльце, смотреть на эту ветку — и это уже такое счастье, что его слишком много для одного человека. Думается мне, с таким настроением Фурманов просыпался чуть ли не каждый день. Отличительными чертами его характера были светлый оптимизм, высокая требовательность к себе, мягкость, осмотрительность, сердечное отношение к людям. Прочитайте его книги, дневники, и, хотя бы вы не видели его никогда, вы почувствуете, что, не колеблясь, доверили бы ему свою жизнь, своих детей; что даже занозу из вашего пальца он вынул бы бережнее, чем вы сами.

В 1918 году Фурманов принес в Иваново в редакцию «Рабочего края» свой первый очерк. В течение трех не-

дель он составлял его, совершенствовал и все-таки у каждого человека в редакции спрашивал:

— Что тут надо изменить?

Ему сказали:

— Замечательная вещь! — и тут же отправили очерк в набор. Требования к стилю были тогда самые снисходительные. Было бы лишь за советскую власть да стояли бы на месте подлежащие и сказуемые, а так все сойдет.

Ночью Фурманов прибежал в типографию и спросил:

— Поставили уже набор с моим очерком в машину? Я вспомнил: там обязательно надо поправить одно место!

После выхода книги о Чапаеве Фурманов слышал очень много похвал, о его книге писали в газетах, журналах, переводили ее на иностранные языки. Тем не менее, приехав в Иваново, находя свою книгу у старых друзей-фронтовиков, Фурманов смущенно спрашивал:

— Ну как? Когда я писал, мне нравилось, а теперь на каждой странице вижу — можно было бы сделать гораздо лучше. Отмечайте карандашом, что там слабо...

Фурманову в высшей степени было присуще чувство собственного достоинства. В армии он с первых дней сумел поставить себя выше сплетен и панибратства. Он был совсем не плохого мнения о самом себе, но в любую минуту раздражения или, наоборот, довольства собою помнил, что он часть многомиллионного мира, который движется, делается лучше, и сам он, Фурманов, в интересах этого движения и вообще должен быть все лучше и лучше. Он непрерывно поправлял и перекраивал себя так же, как и свои рукописи: подавляя в себе одни черты характера, развивал и воспитывал другие.

2 марта 1919 года Фрунзе отдал Чапаеву приказ: овладеть станцией Сломихинской. За три дня Чапаев прошел со своими частями около ста километров в степи, в непрерывных метелях, и неожиданным ударом взял

Сломихинскую. Обойденные Чапаевым с флангов казаки через несколько дней сдали нам и Лбищенск. В те же дни, по распоряжению Фрунзе, были отправлены из Уральска девять тысяч пудов хлеба и одна тысяча пудов сушеной рыбы голодающим рабочим Иваново-Вознесенска. Это были первые наши крупные победы.

Обывательские тупицы не переставали удивляться: как это «партизан» Чапаев беспрекословно подчиняется Фрунзе, благоговеет перед ним?

Вызванный однажды в штаб армии и предчувствуя, что его хвалить не будут, Чапаев дошел до дверей кабинета Фрунзе, круто повернул, вышел из штаба и долго бродил по улицам Самары, собираясь с духом. В другой раз, поссорившись с Фурмановым, Чапаев упрасивал его по дороге в штаб:

— Ты не говори Фрунзе, что мы с тобой поспорили!

## 9. НЕУДАЧНАЯ КОМАНДИРОВКА

Весной 1919 года, усилив свои армии свежими пополнениями, обмундировав и вооружив их с помощью иностранных капиталистов, Колчак устремился к югу, в Уфимском направлении. Его армии, захватив Уфу, Белебей, Бугульму, Бугуруслан, двигались к Волге. На всех вагонах, в которых перебрасывали колчаковцы свои войска, было написано яркими красками: «На Москву!» Колчаковский генерал Белов писал:

«Если иметь в виду полную разруху на железных дорогах в тылу у красных, дальнейшее их сопротивление возможно только как акт отчаяния».

Фрунзе предложил создать ударную группировку наших войск для контрнаступления во фланг и тыл колчаковских армий.

В апреле мы шестером, военные специалисты и политработники, выехали в Москву, чтобы доложить во всех подробностях об обстановке на нашем участке фронта. Мы везли с собой карты, расчеты, планы контрнаступления, сводки агентурных сведений о силах и моральном состоянии колчаковских армий. А самое главное — как живые свидетели мы должны были рассказать о том душевном переломе, какой наметился в наших частях, о людях, их новой готовности к борьбе.

Трамваи уже не ходили по Москве. Жители столицы, заматанные, завязанные чем только возможно, заиндевевшие, с хмурыми, обмороженными лицами, цепочками двигались среди сугробов, волоча за собой самодельные, грубо сколоченные салазки с дровами, щепой, мороженой картошкой. Пусто было в магазинах с запыленными витринами. Вывески «Магазин Елисеева», «Братья Бландовы» уже ничего не означали. Имели значение лишь новые вывески, небрежно намалеванные бледными красками: «Военная комендатура», «Призывной стол».

Около часа добивались мы пропуска в Реввоенсовет республики, бегая со своими командировочными удостоверениями от окошечка к окошечку. Из подвалов Реввоенсовета пахло перловой кашей. На лестницах лежали дорогие ковры. Начальник Полевого штаба, пожилой человек с усталым лицом, слушал нас, склонив голову набок, всем видом своим показывая, что ничего нового и интересного он не ждет от нас.

— Окончательное решение зависит не от меня. Тем более что по этому вопросу уже есть, кажется, заключение комиссии, созданной по заданию председателя Реввоенсовета.

Он долго звонил по всем четырем телефонным аппаратам, стоявшим на столике перед ним, и наконец с ничего не выражающим лицом сказал:



— Председатель Реввоенсовета ждет вас в своем кабинете в шестнадцать ноль-ноль.

Когда мы входили в огромный кабинет, мне трудно было от волнения сосредоточить на чем-либо свое внимание. Мелькнули мрамор, бронза, зеркала, лепные украшения на стенах, люстра с хрустальными подвесками. За обширным столом, за мраморным чернильным прибором, за статуей витязя в шишаке стоял, именно стоял, а не сидел человек среднего роста, старавшийся держаться величественно и прямо. Устрашающе поднятые и выдвинутые вперед колючие, темные брови и черная борода запятой делали его похожим на Мефистофеля из оперы. Он, видимо, знал об этом сходстве и стремился его подчеркнуть.

— Странные представления о дисциплине в Четвертой армии! — сказал он голосом, которому старался придать металлическое звучание. — Через голову штаба фронта вы обращаетесь к главному командованию и ездите ансамблем, как странствующие музыканты! Уж не думает ли командующий армией, что, послав шестерых гонцов, он сделает свои доводы в шесть раз убедительнее?

Он не сядил, и мы были вынуждены слушать его стоя. Он смотрел как бы сквозь нас.

— Я знаю о плане Фрунзе, мне сообщили о нем. Я назначил комиссию из авторитетных специалистов. Мы располагаем реальными возможностями для контрастности. А, как говорят французы, самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет.

Лицо его смягчилось: он был доволен своим остроумием и чеканностью своей речи. Он говорил и слушал себя. Смотрел на всех нас вместе и ни на кого в отдельности.

— Однако сейчас появились новые факты, — возразил руководитель нашей группы Осьминин, толковый военный специалист, бывший штабс-капитан царской армии.

— Новые факты? Игра в бирюльки! — возвысил голос и еще выше поднял брови председатель Реввоенсовета. — Есть один решающий факт: мы не можем выставить никакого заслона против колчаковских армий, кроме Волги, естественного водного рубежа. Наступление Колчака идет широким фронтом. Булавочные уколы на том или ином микроскопическом участке не решат судьбу кампании. Любой фронт, как шахматная доска, допускает возможности для неисчислимых комбинаций; одна только комбинация исключена — пешка не может ходить, как ферзь, слон или ладья! Разве я меньше вас хочу победы? Я такой же слуга партии, рядовой солдат революции, как вы! — воскликнул он, раскатывая «ррр». В гулком кабинете прокатилось «паррртня», «ррреволюция».

По дороге в Москву я готовился рассказать о тех преобразованиях, какие мы провели во всех частях Четвертой армии. В каждой дивизии было создано рабочее, партийное ядро. К примеру, 220-й ивановский полк, пугачевский полк и полк имени Стеньки Разина вошли в состав 25-й стрелковой дивизии. Командиром дивизии Фрунзе назначил Чапаева, комиссаром — Фурманова. Фрунзе говорил ивановцам:

— Вы должны стать цементом дивизии.

В дивизии, конечно, не обходилось без тренировок, особенно первое время. Чапаевцы, увидев наших низкорослых, узкогрудых текстильщиков, презрительно говорили:

— Эти навоюют!

Чапаевцы падали от смеха, глядя, как ивановцы ездят верхом. Да и сам, бывало, не удержишь улыбки, заметив, как какой-нибудь ткач взбирается на лошадь, словно на шаткий забор.

В полку имени Стеньки Разина подтрунивали над ивановцами:

— Что вы за бойцы! Там, где вас целый полк идет у нас одному батальону делать нечего.

И ведь это было правдой. Им давали задание на полк, а они посылали один батальон и возвращались с победой.

Потом обнаружилось, в чем секрет: у них скопилось временами до сорока пулеметов на полк, они были втрое, вчетверо лучше вооружены, чем ивановцы. Откуда у них столько пулеметов? «Комбинировали»: отобьют белых пулеметы и пользуются ими неделю, две, три, пока не доломают их, что называется, «до ручки». Тогда везут сдавать в штаб и говорят:

— Сегодня утром забрали.

Говорят бойко, весело, прямо глядя в глаза, довольные собой, и им все как-то сходило с рук.

Эти комбинации с трофеями показались ивановцам несусветной дичью. Все равно, что один цех стащил бы к себе все силовые установки, а другие цехи как хочешь. Но было обидно за себя, и некоторые наши командиры азарте соревнования попробовали тоже пускаться на комбинации с трофеями.

Да, пробовали и ивановцы задерживать взятые в бою пулеметы. И тотчас же все раскрывалось, как будто явно было по лицам бойцов.

Посыпались выговоры по дивизии, «грели» самоснабженцев по партийной линии. «Прием» был разоблачен. Батальонные командиры из полка имени Стеньки Разина упрекали ивановцев:

— Провалили все дело! Что теперь? Отберешь пулемет, ходишь вокруг него и думаешь — задержать бы только до завтра? А потом махнешь рукой: ну его к черту связываться! — и отдаешь распоряжение: «Отправляйте в штаб».

Однако чем больше ивановцы и чапаевцы узнавали друг друга, тем становились дружнее. Часто замечаешь

на привале, у костра, многие уже легли, завернулись в шинели, осталось несколько пугачевцев и среди них ивановец. Объясняет все: и звездное небо, и историю Наполеона, и замыслы Антанты. Пугачевцы слушают, спрашивают и, чтобы не прерывать рассказчика, по очереди ходят за хворостом в лес.

Подсаживаешься ближе и узнаешь повесть о жизни. С виду молодой человек. Пятнадцать лет отработал в поле.

— Моя жизнь поломанная,— говорит он спокойно.— Дом сожгли, усадьбу развеяли дутовцы, отца и брата убили, самого изувечили.

Снимает гимнастерку, на спине вырезана пятиконечная звезда, еще не зажившая, багровая в отсветах костра.

— Что ж, мучили тебя, а не расстреляли?

— Как не расстрелять? Конечно, расстреляли! Только не дострелили, а яму забросали плохо. Я как опомнился, разгреб землю, растолкал мертвых и уполз. Всего лишился за эти годы. Кончится война, поеду к вам, в Иваново. Примете?

— Конечно, примем!

Ивановцы начали говорить о себе: «Мы чапаевцы», и коренные чапаевцы из-под Хвалынска, из-под Пугачева уже не встречали эти слова улыбками. Уже много раз выносили друг друга из огня. Менялись вещами, перенимали друг у друга хлесткие словечки, мотивы песен.

Коренные чапаевцы и сам Василий Иванович носили «курпятчатые» шапки, из мягких шкурок ягнят. Шапки были большие, на каждую уходило по шесть, а иногда и по восемь шкурок. Носили эти шапки, переламывая их на макушке; конец шапки свисал до плеч, а там еще верх малинового бархата и серебряная кисточка, болтавшаяся на спине. Ивановцы переняли эту моду и за неименем

на привале, у костра, многие уже легли, завернулись в шинели, осталось несколько пугачевцев и среди них ивановец. Объясняет все: и звездное небо, и историю Наполеона, и замыслы Антанты. Пугачевцы слушают, спрашивают и, чтобы не прерывать рассказчика, по очереди ходят за хворостом в лес.

Подсаживаешься ближе и узнаешь повесть о жизни. С виду молодой человек. Пятнадцать лет отработал в поле.

— Моя жизнь поломанная,— говорит он спокойно.— Дом сожгли, усадьбу развеяли дутовцы, отца и брата убили, самого изувечили.

Снимает гимнастерку, на спине вырезана пятиконечная звезда, еще не зажившая, багровая в отсветах костра.

— Что ж, мучили тебя, а не расстреляли?

— Как не расстрелять? Конечно, расстреляли! Только не дострелили, а яму забросали плохо. Я как опомнился, разгреб землю, растолкал мертвых и уполз. Всего лишился за эти годы. Кончится война, поеду к вам, в Иваново. Примете?

— Конечно, примем!

Ивановцы начали говорить о себе: «Мы чапаевцы», и коренные чапаевцы из-под Хвалынска, из-под Пугачева уже не встречали эти слова улыбками. Уже много раз выносили друг друга из огня. Менялись вещами, перенимали друг у друга хлесткие словечки, мотивы песен.

Коренные чапаевцы и сам Василий Иванович носили «курпятчатые» шапки, из мягких шкурок ягнят. Шапки были большие, на каждую уходило по шесть, а иногда и по восемь шкурок. Носили эти шапки, переламывая их на макушке; конец шапки свисал до плеч, а там еще верх малинового бархата и серебряная кисточка, болтавшаяся на спине. Ивановцы переняли эту моду и за неимением

курпятчатых шкурок делали «чапаевки» из обыкновенного барана.

Вот об этом хотелось рассказать в Москве, но куда там! Человек, стоявший за длинным письменным столом, видел только себя, слышал только себя, убежденный в своем абсолютном превосходстве над нами. Какое ему дело до мелочей жизни, до того, как там дружат бойцы и почему в Иваново фунт картошки? Если бы пачать рассказывать ему о наших делах, это прозвучало бы странно, слова повисли бы в воздухе.

— Немедленно возвращайтесь в армию, — так закончил Троцкий разговор с нами.

Подавленные, мы вышли из пышного кабинета и по прямому проводу соединились с Самарой.

— Передайте все материалы в Центральный Комитет партии, — телеграфировал нам Фрунзе.

## 10. БОИ ЗА УФУ

В своих воспоминаниях Федор Федорович Новицкий писал:

«Высшее военное командование, возглавлявшееся предателем Троцким, «не видело» средств, чтобы приостановить движение Колчака к Средней Волге. Поэтому решением партии ответственнейшая задача не только приостановить дальнейшие успехи врага, но и разгромить его была поручена М. В. Фрунзе. Он к этому времени своими искусными действиями в роли командующего 4-й армией обратил на себя внимание В. И. Ленина. Дальнейшие события показали правильность выбора партии. М. В. Фрунзе полностью оправдал оказанное ему доверие и в течение двух месяцев разгромил самого опасного, самого мощного тогда нашего врага — Колчака».

Фрунзе говорил:

— Нам нужны не столько города, сколько уничтоженные основных сил Колчака.

Во всех своих приказах он требовал: «Наступление вести решительно, имея целью не отгонять противника, а окружать его и уничтожать!»

Как опытный забойщик подрубает одну жилку и тем самым обрушивает весь угольный пласт, так и Фрунзе сосредоточенными ударами во фланг и тыл обрушивал колчаковский фронт. В зависимости от обстановки меняя в деталях направление удара, он все глубже и глубже вклинивался в расположение колчаковской армии, перерезая сообщения врага, дробя его силы, подтягивая свои резервы.

У белых началась паника. Целые дивизии, еще не слыша выстрелов с нашей стороны, снимались с фронта и уходили, волоча за собой орудия, теряя снаряжение и обозы.

4 июня мы подошли к Уфе. На высокой горе, с белыми зданиями, вся в садах, с многочисленными куполами церквей, Уфа была так близка, что, если смотреть в бинокль, казалось, можно было достать выстрелом из нагана. Однако ее отделяли от нас и широко разлившаяся река Белая, и проволочные заграждения, и ряды окопов на крутой горе. Колчаковское командование считало, что Уфа защищена неприступными укреплениями.

Бойцы получили распоряжение остановиться на длительный отдых и, утомленные переходами, отсыпались днем и ночью. Шестого под вечер меня разбудили:

— Товарищ Ершов! Вставайте, вызывает Фрунзе!

Я вскочил. Когда просыпаешься на закате, всегда кажется, прошло очень много времени, разыгрались большие события, а ты остался в стороне. Что случилось? Видно, что-то важное произошло.

В избушке лесника Михаил Васильевич сидел один. Солнце зашло, но он еще не зажигал огня.

— Здравствуй! Садись,— сказал Фрунзе.

Как инструктор политического отдела армии, я часто бывал у него, но давно уже не видел его таким озабоченным.

— Как ты считаешь: сильно вымотались люди в Чапаевской дивизии?

— Очень сильно!

— А что говорят? Каковы настроения? Что думают об Уфе?

— Считают, что никогда еще мы не сталкивались с такими сильными укреплениями. Говорят, колчаковцы решили отстоять Уфу любой ценой. Стянули сюда лучшие офицерские части.

— И все-таки мы ее возьмем! И гораздо раньше, чем думали! Возьмем ее в течение ближайших сорока восьми часов с той стороны, откуда нас никто не ожидает. Вот смотри,— оживился Фрунзе, развернув карту.— Сегодня ночью мы форсируем Белую здесь,— он показал на карте точку около Красного Яра, километрах в семнадцать от Уфы.— Видишь, здесь Белая делает петлю. Место топорно неудобное для переправы, но по ту сторону реки густой лес. Переправу начнет Чапаевская дивизия, в первых рядах ее пойдет ивановский полк.

— А средства переправы?

— Нашли! Отбили сегодня у белых буксирный пароход! Переправа будет очень трудна! Каждый боец должен понять: по ходу всей кампании сложилось так, что если мы нанесем колчаковцам еще один удар здесь, они не оправятся! У них создается инерция отступления до самого Тихого океана. Если же нас отбросят сейчас по ту сторону Белой, если 25-ю дивизию оттеснят обратно к реке, это может погубить судьбу и противоколчаковско



кампании и... Мы боремся на пределе человеческих сил. И людям нужно прямо, откровенно обо всем этом рассказать.

— Я понимаю! — сказал я.

Он помолчал, ожидая, что я еще скажу, но я не находил о чем говорить. Выйдя из-за стола, ступив шаг вперед, он поцеловал меня и улыбнулся:

— До свидания в Уфе!

В сених, ожидая конца нашей беседы, сидели командиры, политработники.

В тот вечер Фрунзе многих вызывал для личного разговора наедине. Политработники армии, командиры Чапаевской дивизии чувствовали себя облеченными его личным доверием. Без общего сигнала, небольшими группами будили бойцов, объясняли им смысл и трудности внезапного наступления.

В полночь началась переправа через Белую. Буксирный пароходик, отбитый утром у колчаковцев, не мог вместить и двухсот пятидесяти бойцов. Красноармейцы стояли по бортам парохода, держась за поручни, набились в трюм, на капитанский мостик.

Наша легкая артиллерия подавила ружейный огонь боевого охранения белых. В тишине ночи раздавались отдельные винтовочные выстрелы.

Бойцы натащили откуда-то лодок, челноков, пригнали дырявый баркас, связывали плоты и цеплялись за пароход. Не ожидая команды, люди знали чутьем, что надо делать.

Светлая ночь, далекие зарницы. На левом берегу реки ноги шлепали по болоту, скользили в траве. А на правом берегу — дремучий лес, кустарник, хватавший за плечи, паутина, залеплявшая лицо; темные заросли, сквозь которые не видно было звезд. Цепь можно было развернуть не шире одного отделения.

Шли, торопились. Сколько мы сможем пройти, пока рассеянные сторожевые части белых по телефону предупредят Уфу, пока в Уфе соберутся и кинут в нашу сторону крупные соединения? Миновали лес, пошли ржаными полями, все в гору и в гору.

Перед восходом солнца начались первые стычки. Чем выше поднималось солнце, тем крупнее и крепче становились части, встречавшие нас. Заработали тяжелые орудия противника. В дыму, в песке, летящем от разрывов, стало труднее определять, сколько бойцов упало. Земля заколебалась под ногами.

К полудню на нас навалились основные силы колчакских армий. Когда мы увидели офицерские «батальоны смерти», патронов у нас оставалось совсем мало. Ночью за каждой ротой следовала двуколка с запасом патронов. К полудню от этих запасов не осталось ничего. Все, что изредка подвозили на фургонах со стороны переправы, расхватывалось в одну минуту.

Вы знаете по кинофильму «Чапаев», что такое «психическая атака». Наша тактика — отражать эти атаки, очень близко подпуская противника, тактика «встречи в тишине» сложилась сама собой из-за недостатка боевых припасов. Нужно было беречь каждый заряд и стрелять наверняка, а ведь очень немногие стреляли тогда настолько хорошо, чтобы попасть в далекую движущуюся мишень.

Увидев офицерские части, мы окопались как успели и смогли. Командиры смотрели в бинокли и считали появлявшиеся на горизонте цепи:

— Четвертая, пятая, шестая...

Рядом со мной, на пеньке, с полевым биноклем стоял командир следовавшей за нами батареи. Он считал цепи:

— Семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая...

Мой бинокль был слабее. Но я видел, как цепи колчаковских «батальонов смерти» спускались с холма. Ошавшие от гула орудийной стрельбы жаворонки, попадая в поле зрения бинокля, пока что казались крупнее наступавших. Я спросил командира батареи:

— Почему вы не стреляете?

Он выругался, слез с пенька и сказал:

— У меня два снаряда!

Вот колчаковские цепи на расстоянии семисот, восьмисот шагов.

Это большое напряжение, нужна выдержка — цепь идет прямо на тебя, а ты лежишь, видишь ее снизу вверх и ничего не делаешь. Иной боец от ожидания подскакивает всем телом на месте. Наступающие цепи все ближе, уже различаешь во всех подробностях отдельные лица — и лежишь, молчишь!

Сигнал!.. И тут уже все, что есть у нас, обрушивается на врага: и пулеметный, и ружейный огонь, и последние два снаряда. Стреляя, люди кричат, ругаются от долго сдерживаемой злости.

После колчаковской контратаки командир полка вывел передовой батальон в резерв. Подсчитали бойцов: осталось около двух рот из трех. Но не сохранилось ни одного ротного командира. Командир полка назначил двух новых ротных.

Мы сидели на опушке, за большими деревьями. Санитары перевязывали легкораненых. Усталые, запыленные люди переобувались. К нам подходили бойцы из других полков и спрашивали:

— Нет ли у вас патронов?

Им с раздражением отвечали:

— Не высовывайтесь! Не шляйтесь!.. — чтобы наблю-

дательные пункты колчаковской артиллерии не заметили нас и не начали пристрелку.

Ничего не надо было объяснять нашим текстильщикам, они накопили уже боевой опыт. Одни были еще в домашних, ситцевых косоворотках, другие в трофейных офицерских галифе с красными лампасами. Потные лица, расстегнутые вороты, тяжелое дыхание. У некоторых все еще дрожали руки после напряжения атаки. Нюра Скосырева, ткачиха с Большой Ивановской мануфактуры, смогрясь в крохотное зеркальце, вытерла грязь с лица, выругалась сквозь зубы и виновато улыбнулась, заметив меня неподалеку.

Колчаковские самолеты летели к реке. Бойцы смотрели на них, задрав головы. Отстреливаться было нечем.

Ржаное поле перед нами было изрыто и перековеркано, словно на нем дрались несколько дней. Иногда притоптанные стебли ржи начинали сами шевелиться, подниматься, словно вздыхая в последний раз.

Ползком и короткими перебежками подходили со стороны реки наши подкрепления. Патронов не подвозили. Кругом слышались разговоры:

— Я пустой. А ты пустой? Дай обойму взаимы...

Командир, только что с реки, рассказал мне, как неудачно переправились наши бронированные автомобили. Один засел в тине, другой перевернулся, третий не мог взять подъема и заглох. Я спросил:

— Везут патроны?

Командир ответил:

— Не знаю!

Вестовой, на загнанной лошади, привез батальонному приказ от командира полка: быть наготове. Я спросил вестового:

— Что там?

Он ответил, махнув рукой:

— Отходим!

Прошло минут десять. Я заметил на опушке соседнего леса группу всадников в кожаных куртках. И наблюдатели колчаковской артиллерии заметили эту группу.

Снаряд упал около леса. Прошло минут пятнадцать, и вот вижу: все ближе и ближе ко мне шевелится рожь, откладывается на обе стороны. Ползет человек. Вот и сам пластун виден, Фрунзе!

Он был в пыли, пот лил с него в несколько ручьев.

— Здравствуйте, товарищи! Дайте напиться,— сказал он.

Ему протянули несколько фляжек.

— Сейчас будут патроны, снаряды, несколько оружий,— сказал Фрунзе.— Я сопровождал их до конца леса, потом отправил кружным путем, увидев, что тут стреляют.

Лицо Михаила Васильевича было покрыто потом и пылью. Он сел на траву, вынул носовой платок; увидев, какой он грязный, сунул его обратно в карман и вытерся краем гимнастерки.

— Что там? — спросил он меня вполголоса.

Вполголоса я ответил:

— Кажется, начинаем отходить.

Я ждал: он покачает головой, скажет «плохо», рассердится, что нас держат в резерве, когда на передовой линии отступление.

Но он ничем не выразил своего отношения к этому, достал блокнот, вырвал листочек и написал записку командиру полка. Бойцы наперебой брались ее доставить. Он послал с запиской троих.

— Еще один удар по колчаковцам,— громко сказал он,— и мы сломим дух сопротивления!

Он совсем отдышался, сидел на земле. Красноармейцы прибегали взглянуть на него и мчались обратно сообщать своей части, что они первые его увидели. Повсюду в частях резерва прошел слух:

— Фрунзе здесь!

Я боялся за его жизнь, но все кругом стало как бы спокойнее и прочнее. Даже поле перед нами казалось мне уже не в такой степени исковерканным и обезображенным стрельбой, как несколько минут назад.

Батальонному командиру принесли записку от командира полка: приказ занять место в цепи. Люди поднимались с земли.

— Значит, собираемся? — сказал Фрунзе и поднялся вместе со всеми.

Едва батальон успел получить патроны и занять место на левом фланге, как сзади ударила наша артиллерия. Снаряды подвезли!

Справа от нас с криком «ура» люди побежали вперед. Едва батальонный командир успел отдать команду, как с криками «ура» быстро побежали вперед ивановцы.

Только я успел подумать: «Выдохнутся через полчаса», как бойцы сами замедлили бег.

Увидя кавалерию белых, Фрунзе посоветовал командиру батальона направить часть батальона в обход, чтобы зажать кавалерию с флангов. Двум взводам дали такую команду, и тотчас же бойцы стали круто заходить влево.

Я старался не упускать Михаила Васильевича из вида. Он заряжал на бегу маузер, споткнулся, упал на одно колено и поднялся. Казачья конница сбоку накатывалась на него. Лошади скакали наметом.

Безумным голосом я закричал:

— Конница!

На мгновение раньше, чем я успел крикнуть, Фрунзе лег. Неподалеку от него была воронка от снаряда, он быстро переполз в нее. Задыхаясь от бега, я скатился в воронку, но Фрунзе уже выбрался из нее. От натиска наших пехотинцев редеющую конницу белых как бы ветром относило в сторону. И опять я потерял из виду Фрунзе. Меня ошпарило землей и свалило с ног от близкого взрыва, песком залепило глаза. Я подумал: «Его убьют!»

Но он уже был далеко. На лошади из-под убитого колчаковского генерала вернулся ускорять переправу.

Колчаковские самолеты вились над рекой, над участком переправы. Бомбой с самолета Фрунзе контузило, било с ног. Из рта у него пошла кровь. С помощью бойцов поднявшись на ноги, он продолжал руководить переправой. Там же на реке Чапаева ранило в голову пулей с самолета. Забинтовав голову, Чапаев отдавал команду.

Так было на реке. А перед нами, у деревни Турбасы, возникали группы колчаковских солдат по пятьдесят, по семьдесят человек. Одни стояли, побросав винтовки, другие — поднимая оружие кверху. Много было чашкир и татар. Многие, как паспорта нового гражданства, держали в руках и протягивали нам листовки, сброшенные накануне с наших самолетов. В листовках говорилось на нескольких языках:

«Вас обманули и силой заставили служить вашим врагам. Идите к нам, мы примем вас как братьев».

Мы уничтожили в этом наступлении шесть отборных царских полков. Обошли Уфу. Под угрозой окружения колчаковцы очистили ее сами, бежали в панике, поросав свои «неприступные» укрепления.

## II. О ВОЕННОМ ТАЛАНТЕ

Колчаковские армии по всему фронту отходили к Уралу. Во вражеском тылу вспыхивали восстания, росло движение красных партизан. Предатель Троцкий сделал еще одну попытку сорвать план Фрунзе — он требовал приостановить наше наступление на Колчака, начать переброску частей с Восточного фронта на денкинский фронт и под Петроград.

Центральный Комитет партии отстранил Троцкого от какого бы то ни было вмешательства в дела Восточного фронта. Командование Восточным фронтом было поручено Фрунзе. Ленин дал ему директиву:

«Напрячь все силы! Если мы до зимы не завоем Урала, гибель революции неизбежна!»

Одной из любимых поговорок Фрунзе была: «Не сделано еще ничего, если не все сделано». Верный своему правилу: «Преследовать врага не останавливаясь, не давая передышки, до полного уничтожения», — Фрунзе, приняв командование фронтом, менее чем за один месяц захватил у Колчака Златоуст, Екатеринбург, Челябинск, Ирбит, Верхнеуральск и окончательно разгромил лучшие колчаковские армии.

Зимой 1919 года я приехал в Оренбург на совещание политработников. Оренбург был истощен многомесячной осадой дутовцев. Под самым городом, на берегу Урала, около боен и менового двора, еще оставались белогвардейские окопы, проволочные заграждения. Многие дома города были повреждены артиллерийским обстрелом.

Совещание политработников собралось в пятиэтажном доме; раньше он принадлежал купчихе Панкратьевой. В Оренбурге все знали этот дом. Богатая отделка



внутри: паркетные полы, лепные потолки. И во всех комнатах чугунные печки-«буржуйки» на листах кровельного железа. Трубы печек дымили, в местах, где соединялись колена труб, висели жестяные банки, и в них стекала черная жидкость. Окна замерзли, мороз на улице доходил до сорока градусов.

Бывший купеческий дом наполнили военные люди в чапаевских и кабардинских папахах, в огромных грязно-белых шапках, в кожаных штанах, в суконных галифе, обшитых кожей. Освещение было настолько слабо, а дым от чугунных печек так густ, что в коридорах и в больших залах не сразу видно было людей: они возникали внезапно, как в тумане.

Прежде чем открыть совещание, Фрунзе достал из кармана книжку и дал нам ее; она пошла по рукам. Сначала мы недоумевали, книжечка озаглавлена: «Образцы шрифтов Оренбургской губернской типографии». В тексте — шрифты типографии: цицера, круглый, корпус, плотный, заголовочные шрифты. Но вскоре нас захватило содержание как бы ничем не связанных между собой строчек текста:

БУГУРУСЛАН, БЕЛЕБЕЙ, УФА.  
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ.  
ЕКАТЕРИНБУРГ, ЧЕЛЯБИНСК, ВЕРХНЕУРАЛЬСК.  
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕНГЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА!  
КОНЕЦ КОЛЧАКУ, ДУТОВУ СМЕРТЬ!  
КРАСНЫЙ ВЕДДИНГ, УРА!

Иногда строка стихов в том же настроении:

еще в полях не стаял снег, а воды уж весной шумят...

И снова крупными буквами, на всю строку:

УРА ЛЕНИНИ УРА!

— Я думал, это набирали восторженные юноши, — улыбнулся Фрунзе. — Оказывается — молодежи в типографии нет, она на фронтах. Остались старнки в очках.

Я спросил их: был ли им заранее дан этот текст? Нет, им была дана задача: продемонстрировать шрифты типографии; слова набирать любые, какие придут на ум. И вот что им прежде всего приходит в голову: «Красный Веддинг», «Венгерская Советская Республика». Революция выходит за пределы нашей страны. И это ко многому обязывает нас!

Вспомните, с чего мы начинали с вами несколько месяцев назад на Восточном фронте,— продолжал Фрунзе.— Многие старые, опытные военные специалисты говорили нам: «Тут, как в рулетке, ничего нельзя предвидеть. Законы военной науки применить невозможно, разве это фронт? То мы оказываемся в тылу у казаков, то казаки в тылу у нас. Тут можно только гадать и рисковать». И в самом деле, нас окружал хаос, часто мы видели себя беспомощными, несмотря на всю нашу энергию.

Но разве так называемая мирная жизнь последнего столетия не представляет собой такого же хаоса? Все течет, все стремительно изменяется, и именно в этом столетии была создана наша великая теория, дающая возможность точного предвидения во всех областях человеческой деятельности. Нет такого хаоса, в котором нельзя было бы найти повторяющихся явлений. А раз они есть, мы должны найти их, изучить и свести в систему. Изучить и лишь потом действовать, исходя из ясного плана. Это не значит строить окостеневшие схемы. Но без некоторых руководящих принципов на войне, как и во всяком другом деле, действовать нельзя.

Куда бы мы с вами годились, если бы не продумали, как строить фронт в новых условиях маневренной войны. Вы, в большинстве своем старые фронтовики, вспомните, что подразумевалось, когда говорили: «Едем на фронт. Едем на позиции». Это было что-то устойчивое,

это были действительно «позиции» — окопы, блиндажи, там и пахло хотя неуютным, правда, солдатским, по тараканы. И вот вам фронт, где все течет и струится, вся «позиция» помещается на телегах и крестьянских розвальнях! Если бы в этих условиях, «невероятных» с точки зрения некоторых старых военных специалистов, мы не смогли бы найти и новых принципов, не осмыслили бы, с чего начать и что нам делать сегодня, завтра, — мы превратились бы в убогих кустарей, в ремесленников войны. Нас били бы, как сидоровых коз, при всем нашем героизме.

Вы, политработники, вы воспитываете людей, — продолжал Фрунзе. — Успехи вашей работы не в том количестве докладов и бесед, которые вы проведете, а в том количестве людей, которым вы дадите ясность цели, силу ориентировки. Люди, твердо знающие, что они хотят, что будут делать сегодня, завтра и как это будут делать, вдесятеро, во сто раз сильнее человека, плывущего по течению. «Кто не знает, куда он плывет, для того нет попутного ветра». Если у вас в части найдется хоть один человек, который рассчитывает жить на свете по-старому, по привычке, значит, политработа недостаточно хороша. Всю нашу жизнь и после войны мы будем строить на основах разума, а не на силе привычек.

Вспомните слова Маркса: чем отличается самый плохой архитектор от самой лучшей пчелы? Пчела строит по инстинкту, а у архитектора есть план. Социализм — это эпоха больших планов. Каждый шаг наш, даже мелкий, даже в обыденной, личной жизни должен определяться ясным сознанием цели. Надо добиться, чтобы каждый наш боец и командир овладел наукой наук, философией марксизма.

После совещания Фрунзе пригласил нас ужинать.

Шесть бледно-зеленых вагонов стояли на запасном пути, неподалеку от вокзала. Первое, что увидели мы в салон-вагоне, — длинный стол, на нем стеклянные вазы с сушеным урюком, кишмишем и оплетенные сетками дыни. Стены вагона были увешаны военными картами.

Мимо вагона время от времени проходили железнодорожные составы: паровоз остановился за окном, сила паром, освещенный отблеском топки. Вагон наш слегка покачивало. Чувствовалось движение, большие, открытые пространства.

Из кухни вносили рисовый суп, котлеты с картофельным пюре, на третье были дыни, урюк, изюм. Ужин показался мне роскошным. Приятный вкус дыни (я пробовал ее впервые в жизни) вызвал мысли о недалеком уже Туркестане, о богатых, неизвестных мне странах.

Фрунзе расспрашивал начальника дороги:

— Почему так часто загораются маршруты с хлопком?

В самом деле, и я обратил внимание — то и дело видишь на платформах с хлопком обугленные кипы. Иногда несколько тюков выброшены совсем, а соседние в черных язвах, покрыты копотью.

— Мы топим паровозы камышом, дровами, иногда сушеной рыбой, — ответил начальник дороги. — Все это дает крупную, легкую искру, долго сохраняющую жар. Посмотрите ночью — поезда идут с огненными хвостами.

— А машинисты к тому же настезь раскрывают поддувала.

— Нет, — возразил начальник дороги, — машинисты ездят по инструкции. Все дело в характере топлива. Возьмите недавний случай: задремал проводник на открытой платформе, проснулся в дыму. Полы тулупа как не бы

вало, сам едва заживо не сгорел. Это овчица, чего же можно ждать от хлопка?

— Значит, люди у вас спят, вместо того чтобы следить за целостью грузов?

Начальник дороги смутился:

— Они следят по мере сил, но ведь людей не хватает. Иной раз проводник не сменяется по сорок восемь часов, на морозе. Мы накладываем взыскания, если замечаем, что дремлют в пути, но... Где-нибудь за пять вагонов от проводника попадает искра между кипами, хлопок начинает куриться. Ведь он не пламенем горит, дымок не сразу заметишь, дым обрывает и относит ветром.

— Не может быть, чтобы не было средств предохранить хлопок от воспламенения! Надо собрать завтра утром заседание правления дороги с участием машинистов и проводников,— сказал Фрунзе.

— Хорошо говорил Чапаев: «Они могут понимать, но не хотят понимать»,— сказал Фрунзе, когда начальник дороги ушел.

Заговорили о Чапаеве; его трагический конец волновал всех.

— Вот от него никогда нельзя было услышать слова «не могу»,— сказал Фрунзе.— Он был уверен, что все может. Говорят, у Чапаева был какой-то особый особенный талант; я не верю в существование узкоспециализированных талантов. Мне кажется, основа любого таланта — в энергичной убежденности, в целеустремленности характера. Вот если бы описать Чапаева во всей полноте, со всеми его достоинствами и недостатками, ничего не скрывая и не приукрашивая, какая интересная, поучительная была бы книга! — воодушевился Фрунзе.

## 12. ФЕДЯ СООРУЖЕНКОВ

Ужин кончился, когда в дверь вагона постучали. Появился маленький рыжий человек в пальто с чужого плеча, в драных оледеневших калошах. Он оробел, увидел многолюдное общество, и снял шапку.

— Товарищ командующий, согласно вашему вызову...

Я сразу узнал его, — это наш, ивановский, зовут его Федя. В тысяча девятьсот пятом году он был забавным подростком, подражал крику поросенка, шуму идущего поезда. Играя на балалайке, подбрасывая ее, переворачивая в воздухе, ловил, отбивал пальцами чечетку на корпусе балалайки, заставлял балалайку стонать, как гитару, и пел с выражением на мужские и женские голоса. Но как его фамилия, что он делал тогда, я решительно не мог вспомнить.

— Федя? — спросил Фрунзе.

Тот радостно отозвался:

— Я, Михаил Васильевич! Это я!

— Когда я тебя вызывал? И кто ты такой? Как твоя фамилия? — улыбнулся Фрунзе.

— Сооруженков, товарищ командующий!

— Ах, так ты и есть товарищ Сооруженков? — воскликнул Фрунзе. — Как же ты за Волгу попал? Я думал, тебя давно в живых нет.

— Жив, Михаил Васильевич! Я жив! — просиял Федя. — Как демобилизовался из царской, попал с женой в Оренбург. Третий год в этих краях.

— Ну раздевайся, садись, — пригласил Фрунзе. — Я тебя давно жду.

Проворно, с беличьими ухватками, Федя снял с себя пальто, повесил его на гвоздик. Став на цыпочки, накинул на гвоздь баранью шапку, снял калоши и подул на руки, бормоча:

— Я был в районе, Михаил Васильевич; меня вы-  
звали телеграфом.

Во френче, закрывавшем ему колени, он сел на диван  
и показал движением головы на окружающих — дескать,  
надежный ли народ?

— Ничего, говори... — кивнул Фрунзе.

Вытаскивая из кармана френча различные бумажки,  
лицом, выражавшим: «Ну как вы хотите, а будете  
меня слушать», Сооруженков начал:

— Пшена я имею на сегодняшний день, Михаил Ва-  
сильевич, пятьсот тысяч пудов, ячменя — четыреста трид-  
цать тысяч, муки пшеничной — шестьсот пятьдесят ты-  
сяч, не считая трофейной крупчатки, взятой у Дутова, —  
тридцать тысяч пудов...

Я сейчас плохо помню и округляю цифры. Сооружен-  
ков называл их с точностью до пуда.

Фрунзе слушал его очень серьезно.

— А объемного фуража у тебя сколько? — спросил  
Сооруженкова.

Федя вынул из кармана еще бумажку.

— Объемного фуража у меня двести семнадцать ты-  
сяч здесь, шестьдесят тысяч на Орской базе.

Цифры он называл на память, не заглядывая в свод-  
ки, но, как бы опасаясь, что ему не поверят, держал свод-  
ки в руках.

— Овса нет? — спросил Фрунзе.

— Овес тут только проездной.

— Что значит — проездной?

— Из других мест. Тут сеют ячмень, просо. Ржи тут  
уже нет.

Федя вытащил еще сводку.

— Овса на вчерашний день в Оренбурге девять  
тысяч, на Орской базе семнадцать тысяч пудов. Теперь

давайте мне вагоны, давайте больше вагонов! — сказал он, строго глядя на Фрунзе.

— Сколько ты грузишь? — спросил Фрунзе.

— За вчерашний день двенадцать вагонов в Оренбурге, из них пять платформ, семь вагонов на Орской базе, из них две платформы...

— Мало! — сказал Фрунзе.

— Конечно, мало! — заволновался Сооруженков. — Я и говорю им: что вы, смеетесь надо мной? Девятнадцать вагонов, когда вся Россия голодает! И ведь не пульмановские, Михаил Васильевич, а паршивые платформы старого образца!

— Вагоны мы вам дадим. С завтрашнего дня дадим вагоны.

— Вот это хорошо, это правильно! — обрадовался Федя. — Я тут пускаюсь на комбинации, хотел с вами посоветоваться, Михаил Васильевич, допустимо это или нет? Вот, например, идут эшелоны из Туркестана, эвакуируются учреждения, везут с собой ковры, шифоньеры, диваны, прочую мишуру. Ну конечно, осматриваешь эшелон, все это лишнее сгружаешь, просишь потесниться и отцепляешь себе вагоны два-три.

— И ничего, соглашаются потесниться? — посмеиваясь, спросил Фрунзе.

— Конечно, не соглашаются, иной раз дело до драки доходит. Ну, уж тут мне приходится пускать в ход физическую силу, — сказал Федя, выпятив грудь.

Я чуть не фыркнул.

— Какая же у тебя сила? — с доброй улыбкой спросил Фрунзе.

— Сила у меня хорошая, Михаил Васильевич, на силу я не жалуюсь! Тридцать человек — латыши и моряки, вооружение — кольты и маузеры. В случае чего сами сгружаем мебель на путях и отцепляем вагоны.



Как вы смотрите, Михаил Васильевич, есть тут прева-  
женные власти? Обо мне уже сколько раз писали в центр,  
называют разбойником на большой дороге.

— Так и поступай,— с горячностью сказал Фрун-  
зе.— Ни на кого не смотри, никого не бойся, кто бы он  
ни был—делай свое дело. А чтобы покрепче, вот мы  
тебе мандат дадим.

Вырвав листок из блокнота, он заполнил его и пе-  
редал женщине, сидевшей за столом. Женщина вышла  
из вагона.

— Ты откуда сейчас? — спросил Фрунзе.— Поди,  
прямо из района? Есть хочешь? — Не дожидаясь отве-  
та, Фрунзе приказал: — Распорядитесь на кухне, чтобы  
принесли ужин.

Женщина вернулась с удостоверением, перепечатан-  
ным на машинке. Фрунзе подписал его и отдал Соору-  
женкову.

Внесли ужин с кухни. Церемонясь и отказываясь,  
Федя набросился на еду.

— Это вы грузите зерно навалом на платформы? —  
спросил Фрунзе.

Кусок застрял у Сооруженкова в горле.

— А что? Разве сыплется? — испуганно сказал он.

— Нет, не замечал. Но разве уж так плохо с  
арой?

С полным ртом Сооруженков не смог ответить и, при-  
крыв глаза, провел ладонью по горлу.

— Хуже некуда! — сказал он, прожевав.

— А подвижной состав подолгу у вас простаивает  
в ожидании погрузки?

— Ни одной минуты! У меня как пожарная команда:  
чим при пакгаузе, только подают порожняк — все ребя-  
та на путях. Бегом грузим! Если не подают маневрового  
аровоза, сами передвигаем составы.

— Это как же сами? — спросил Фрунзе.

— А так, плечом. Да, еще я хотел посоветоваться Михаил Васильевич. Тут цепляются ко мне, будто я создаю неравенство, выделяю грузчиков среди остального пролетариата. Я, правда; грузчиков не стесняю, при такой работе пусть едят от вольного; они у меня днем и ночью мясо варят, пышки пекут из самой лучшей муки. Как вы смотрите, Михаил Васильевич?

— Да ты ешь, потом расскажешь, — посмеивался Фрунзе.

Еще не совсем прожевав, Сооруженков встал.

— Извините, я пойду. Спасибо!

Он пожал руку Фрунзе и стал надевать пальто.

Фрунзе спросил:

— Что это у тебя за пальто?

— А что?

— Да длинно уж очень!

— Это с бежавшего буржуя выдали, реквизированное. Буржуи, они нас, Михаил Васильевич, не спрашивались, делать им было нечего, вот и росли и в ширину, и в длину. Пальто удобное, в подводе едешь, обернешь себе ноги — и не так задувает.

— А калоши, неужели тоже с беглого буржуя?

— Калоши довоенные. Держатся!

— Принесите валенок и полушубков несколько на выбор, — сказал Фрунзе коменданту поезда.

— К чему это, Михаил Васильевич? — покраснел от удовольствия Сооруженков.

Комендант поезда, ногой и локтем притворяя за собой дверь, внес в охапке полушубки и валенки. Федя выбрал самые большие белые валенки, влез в них чуть не до паха и сказал:

— Подходяще!

Талия полушубка была у него на бедрах, но он меньше путался в нем, чем в своем пальто. Вырядившись, он притопнул валенком и пригладил волосы.

Тем временем Фрунзе, сделав большой кулек из газеты, высыпал в кулек кишмиш из вазы. Еще оставалось место, и Фрунзе опрокинул туда вазу с курагой.

— Тебе, к чаю,— протянул он сверток Сооруженкову.

— Да полно, Михаил Васильевич, я их и не очень уважаю! Разве детям?

— А у тебя много их?

— Пока двое. Девочка и мальчик.

— Заходи, когда станет нужно, в любое время дня и ночи, я отдам распоряжение охране. Если меня не будет, действуй от моего имени,— говорил Фрунзе, провожая Сооруженкова до двери.— До свидания, до завтра! Смотри не споткнись о рельсы в новых-то валенках!— крикнул он в раскрытую дверь вагона.

Он захлопнул дверь и, повернувшись к нам, серьезно сказал:

— Деловые люди растут! Будущие организаторы, руководители огромных хозяйств.

### 13. СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Врачебная комиссия запретила мне всякую работу, связанную с разъездами. Меня отчислили из армии и назначили уездным военным комиссаром в Чимкент.

Природа и климат этого края не нравились мне. Пыль над городом стояла желтой тучей, изменяя цвет солнца. Солнечные лучи падали отвесно.

Вот осел на припеке, тень лежит у самых его ног. Он низко наклонил голову, словно для того, чтобы солнеч-

ные лучи не резали его, а соскальзывали с шеи. Вот верблюд бежит с отвислой губой, с мотающимся горбам, выбрасывая вперед свои мягкие ноги. У верблюда брезгливая морда, он плюется, когда рассердится.

Глиняные сооружения глядят на улицу глухими стенами без окон. Толстые длинные глиняные заборы. Летают и ползают большие зеленые мухи, с выразительными, как у животных, глазами.

Над пустыней за городом стоит марево; накаленный воздух дрожит. В песок нельзя ступить босиком, сожжешь ступни. Если в полдень положить в песок сырое яйцо, оно через несколько минут сварится вкрутую. И пыль, всюду пыль,— она в занавесках, она скрипит в хлебе, когда ешь, пыль в волосах, в ушах.

Снежные вершины гор на горизонте я принял вначале за облака; кажется, что они отделены от земли тоненькой полоской неба. Ждешь, что хоть оттуда пахнет свежестью. Но и с той стороны ветер приходит теплым, пресным, вроде отварной воды из самовара.

У себя в квартире после работы я наполнял ванну водой, залезал в воду по горло и сидел в ней часами. Рано утром, лежа на полу у раскрытого окна, набрасывал карандашом ответы на запросы из центра, донесения и приказы.

Сложная отчетность, разнообразные формы и таблицы учета, инструкции, положения, дополнения к инструкциям и разъяснения к ним, пные на десяти — двенадцати страницах, тускло напечатанные под копирку, с буквами, как бы только намеченными пунктиром, с длинными периодами, с путаницей придаточных предложений: «вследствие», «исходя», «постольку поскольку». Для того чтобы в пятидесятиградусную жару разобраться во всем этом, каждую бумажку приходилось перечитывать два-три раза. Иногда мне казалось, что у меня разжижение мозга.

Так хотелось хоть однажды вздохнуть свежим воздухом, полной грудью! Но свежей струи воздуха не дождешься, бывало, до самой ночи.

Я ходил в брезентовых сапогах, однако и в них было жарко. Два больших красноармейских лагеря за городом надо было навестить хотя бы раз в неделю. Ездил туда верхом. Потное тело растиралось седлом; после поездок и на стуле не хотелось сидеть. Я уже говорил, что мы, ивановцы, неважные кавалеристы.

Вдобавок ко всему у меня началась тропическая лихорадка. Приступ приходил внезапно, чаще всего с утра. Начинали коченеть руки, мертвела кожа на пальцах, все тело трясло, стучали зубы. Заплетался язык, и я уходил в середине заседания, в разгар работы. В полдневную жару все тело окатывало морозом, и ничего уже не грело: ни одеяло, ни полушубок, ни толстые ковры. Через какой-нибудь час после начала приступа температура поднималась до сорока одного градуса, я лежал в своей пустой квартире; изредка приходил вестовой Умар Галиев и приносил мне воды. Часто начинался бред, я видел себя под деревьями, у плотины, в Куваевской роще. Чудилось: ползаю на поляне, усыпанной черникой, — крупные, налитые ягоды с отчетливыми ободками по приплюснутому кругу.

Очень неприятная болезнь — тропическая лихорадка. Чувствуешь себя как под обстрелом, та же неопределенность, неизвестно, когда придет приступ и повторится ли он завтра. И под обстрелом все-таки хозяин самому себе, не теряешь разума и инициативы, а тут превращаешься в тряпку, ничего не соображаешь, ни о чем не помнишь. Иногда в бреду моя болезнь представлялась мне в образе колчаковского офицера, и я просил Умара, чтобы он никого не пускал в комнату, особенно никого с усиками. Чтобы Галиев понял всю

важность приказаний, и объяснял ему: сейчас придёт тропическая лихорадка!

Снисходя к моей беспомощности, Умар говорил: «Якши, якши» — и обещал никого не пускать. Видя, что он не оценивает серьезности положения, я старался объяснить ему, внушить ему, почему это важно: никого сейчас не пускать, и он то проваливался временами, исчезал вместе с комнатой, то опять возникал не совсем отчетливым пятном. Вот наконец начинает падать температура, каждые несколько минут на градус ниже, я лежу точно в луже, обтираю лоб полотенцем, и оно становится мокрым насквозь.

Хина не помогала; врачи настаивали, чтобы я переменял климат, но подавать рапорт о болезни и уезжать в трудный момент подготовки нового наступления не хотелось. Я скрывал от Фрунзе свою болезнь. Писал в Ташкент, просил дать людей в помощь, но мне не отвечали или говорили, что в данный момент никого не могут прислать.

И вот однажды звонят с вокзала:

— Через полчаса прибывает поезд командующего фронтом.

До вокзала далеко, и пока я, по самому пеклу, добрался туда, поезд уже пришел. Шесть знакомых длинных запыленных вагонов защитного цвета стояли на запасном пути, без паровоза. Я скакал на вокзал с радостью, но вместе с тем и с неприятным предчувствием — у меня было неладно с учетом военнообязанных, со слабой повозок и сбруи Чусоснабарму.

Спрыгнув с лошади, я побежал к вагону, в котором ужинал в Оренбурге, назвал себя часовому, тот вызвал адъютанта. Адъютант ходил к Фрунзе и вернулся с ответом:

— Он тебя сейчас не может принять. У него сове-

шание. Он приказал передать, что вызовет тебя завтра утром.

В скверном настроении вернулся я в военкомат. Меня уже искали, прибежали, звонили по телефону. Занятия должны были кончиться, в полдневную жару учреждения Чимкента делали четырехчасовой перерыв. Но людей в военкомате стало как будто даже больше, чем обычно в часы работы. До поздней ночи мои сотрудники бегали за справками, срочно заготавливали выборочные сводки, выписки из приказов.

В половине первого ночи я пришел на квартиру начальника хозяйственной части военкомата и потребовал у него уже не общих успокоительных заверений насчет повозок и сбруи, а точных цифр, как бы печальны они ни были. То, что я услышал, превзошло мои худшие ожидания. Мы не сдали и сорока процентов повозок, доставшихся нам от старого интендантства. Повозки числились на учете, разбросанные по нескольким складам в глубине уезда, но фактически их растащили и пользовались ими в гарнизонах, в хозяйствах местных работников. То же самое было и со сбруей.

Наутро мне принесли письменное приказание Фрунзе: явиться немедленно вместе с начальником хозяйственной части. Я послал вестового к начхозу, написал ему, чтобы он не терял времени, не заезжал за мной, а прямо скакал на станцию.

Когда я домчался до вокзала, начхоза еще не было. Я топтался около поезда Фрунзе, не зная, что предпринять. Заходить одному было неудобно, ждать, терять время, медлить с явкой еще неудобнее. Меня заметили из вагона. Комендант крикнул с площадки:

— Зайди к командиру!

Я прошел к Фрунзе и отрапортовал:

— Явился согласно вашему распоряжению.

— А где ваш начальник хозяйственной части? — спросил Фрунзе.

— Сейчас придет.

Фрунзе, сдвинув брови, сказал:

— Садись, — и отвернулся от меня.

Та же обстановка вагона: книги, карты, только вместо дынь и паз на длинном столе два букета цветов. Фрунзе беседовал с группой военных, обращаясь преимущественно к старику в белом кителе, с петельками и дырочками для погона на плечах, с нагрудным значком Академии генерального штаба.

С пробритым подбородком и седыми бакенбардами, с чисто промытыми и припудренными морщинами, с орлиным носом, с тяжелыми красноватыми веками и седыми ресницами, по-корабельному тщательно одетый, в синих, разглаженных брюках со штрипками, этот военный сидел в непринужденной позе в кресле, положив одну ногу на другую.

Я заметил сразу его умное, немного надменное лицо. И он, едва я вошел, бросил на меня пронизательный, изучающий, но вежливо притушенный, как будто лишенный интереса взгляд. Он оценивал меня быстро, оценил не очень высоко и больше не глядел на меня в течение всего разговора.

Когда ему нужно было рассмотреть карту или страницу в книге, он вынимал из кармана кителя пенсне на черном шнурке: шнурок лежал вокруг воротника кителя. Если в книге попадался мелкий шрифт, старик снимал пенсне и доставал из кармана футляр с очками. Он держался в центре разговора: все, и Фрунзе в том числе, называли его Николай Всеволодович. Старик часто оживлялся, обращаясь главным образом к Фрунзе.

Слишком занятый своей тревогой, я слушал их разговор через пятое на десятое.



— Здесь неприменим опыт колчаковской кампании, — говорил старик. — Тяжелая артиллерия визит по ступицу. Противник невидим. Вспомните Абд-Эль-Кадера. Маршалу Бюжо для алжирской кампании понадобилось семь лет.

— Абд-Эль-Кадер был вождем кабийского народа. Он вел священную войну, — возразил Фрунзе.

— Но ведь таков лозунг и эмира бухарского и басмачей! «Бинията газават!» Святая война! Не преуменьшайте силу суеверий! — завопил старик. — Когда двадцать лет назад в Андижане муллы объявили священную войну, они раздавали деревянные зубочистки, и в народе верили, что эти зубочистки сделают повстанцев неуязвимыми для русских пуль. В народе верили муллам, что русские ружья будут стрелять не пулями, а водой. С зелеными, с белыми знаменами, смоченными кровью, повстанцы шли против мортир с криками: «Бинията газават!»

— Николай Всеволодович, это не та война, что во времена Черняева и Скобелева. Не та Россия и не тот Восток! Я согласен с вами — идея панисламизма растет, но где ее источник? В Хорасане, оккупированном английскими войсками! Ведь это мы, мы ведем священную войну! Разве не при вас являлась делегация из Бухары и от имени народа просила освободить Бухару от ига эмира?

— Михаил Васильевич! — с искренней тревогой воскликнул старик. — Не переоценивайте значение таких фактов! Вы идете с жаром своих желаний, и вам кажется, что свет исходит повсюду. Я помогу вам всем, что в моих силах, даже если бы вы ни в чем со мной не согласились, я готов разделить с вами ответственность за любую ошибку, пойдем на риск, но давайте и называть это риском! Дружественная делегация! Рустам-бек восемнадцать лет жил и богател среди русских и в конце концов

предал. «Запад есть Запад, Восток есть Восток — и друг друга они не поймут».

— Это не так! Теперь не так! Уже понимают, а скоро еще лучше поймут! — горячо возразил Фрунзе.

#### 14. ТАТАРСКИЙ ПОЛК

Начхоза не было! Я вышел из вагона, всматриваясь в улицы, откуда он должен был подъехать. Комендант поезда, старый ивановский знакомый, подошел ко мне:

— Что это ты, Ершов, так похудел, позеленел? Болен?

Я спросил его:

— Кто этот старик?

— Как? — удивился комендант. — Разве ты не догадался? Это Луховицкий!

Еще в Ташкенте я слышал немало анекдотов о Луховицком. Выдающийся военный старого режима из знатной крупнопоместной семьи, родственник царствовавшей у нас династии Романовых, Луховицкий лет за двенадцать до мировой войны, рассорившись с придворными кругами, вышел в отставку. Он жил в Ташкенте со своими детьми и внуками, со своей библиотекой, никуда не выезжал, ни с кем не знакомился. Многие в Ташкенте знали его розы, он сам выводил особые, редкие сорта цветов в своем огромном саду. Рассказывали, что нередко он сам стряпал, с папиросой в зубах, подвязавшись передником и выгоняя всех домашних из кухни; у него и в кулинарном деле была своя система.

Ташкентские обыватели считали Луховицкого полунормальным, выживающим из ума чудаком и лишь перед самой революцией с удивлением узнали, что несколько книг его по военной истории и астрономии переведены на многие иностранные языки.

Я спросил:

— Он сам к нам пришел?

Командант ответил:

— Нет, Михаил Васильевич ходил к нему первый. Теперь возит его повсюду с собой, видится с ним раз по шесть в день.

И командант стал жаловаться, какая канитель со стариком: то ли у него колит, то ли гастрит, приходится отдельно готовить для него.

Наконец мчится начальник хозяйственной части и выскакивает из фэтона с криком:

— Какое безобразие у нас на конном дворе!

Тут уж некогда было выяснять, что там случилось, я поскорее потащил его в вагон.

— Где вы были до сих пор? — спросил Фрунзе начальника.

Тот, что называется, не растерялся и, вытаращив глаза, отрапортовал:

— Товарищ командующий, спеша согласно вашему распоряжению, у меня лопнула ось!

Все, кто были в вагоне, улыбнулись, только я и Фрунзе остались серьезными.

— Пройдемте со мной, — сказал Фрунзе.

Втроем мы перешли в соседний вагон через темную площадку, закрытую кожухом, миновали коридор, вошли в небольшое купе со столиком и двумя постелями. Софья Алексеевна, кажется не узнав меня, ответила на мое «здравствуйте» и, взглянув на мужа, молча вышла из купе.

В вагоне было душно.

— Согласно приказу уездвоенкомата, — начал Фрунзе, доставая из ящика стола бумажку, — вы должны были выезжать на места и лично руководить розысками и

отправкой повозок и сбрун. Вы не выполнили распоряжения!

— Товарищ командующий, я выезжал, — встрепенулся начхоз.

— Сколько раз?

— Не помню сейчас. Раз пять-шесть. Может быть, семь.

— Вы лжете, — сказал Фрунзе. — Вы выезжали два раза, причем второй раз три дня пьянствовали у вашего тестя, получая за это суточные. Почему вы не проследили за этим? — обратился ко мне Фрунзе.

— Товарищ командующий, вас неправильно информировали! — начал начхоз. — Мои враги...

— Вы свободны, — сказал ему Фрунзе. — Можете идти.

Тот вышел, и Михаил Васильевич спросил меня:

— Как ты терпишь таких людей? Ведь его с первых слов видно: лжец, нахал, самоснабженец. Купил себе дом недавно — на какие доходы? Нанимает строителей, недоплачивает им, а заставляет расписываться за полную сумму. Меня засыпали письмами. Один ты ничего не видишь! Пригред проходимца!

— Он член партии. Фронтовик.

— Мерзавец, спекулирует боевыми заслугами и партийным билетом! Сотрудники особого отдела раскрыли его за два дня, а ты работаешь с ним полгода и ничего не замечаешь! Это опять как с Фокиным!

Фрунзе был незлопамятен, и меня удивило, что он не забыл мне Фокина. Нечего было сказать в свое оправдание, и я молчал.

— А что у вас с военным учетом? Почему все так запутано? Никак не установишь, сколько в уезде военных обязанных?

— Разные люди работали в военно-учетном столе. И недостаточно грамотные, без образования.

— Помилуй бог, какое тут нужно образование? Сосчитать два и два — четыре? Они у тебя взятки брали, по десять баранов получали за освобождение от военной службы. Уничтожали учетные документы. За это их расстреливать надо, а не грамоте учить! Нет, так работать нельзя! — огорченно сказал Фрунзе. — Мы взяли власть не для собственного удовольствия. Не для того, чтобы любоваться собой и друг другом!

Я молчал. Горе было не только в том, что меня ожидали партийные взыскания, снятие с должности. Я терял доверие Фрунзе.словно бездонная пропасть раскрылась подо мной, и я смотрел в нее, не видя ничего другого перед собой, не в силах отвести глаз.

У меня был, вероятно, совсем убитый вид. Фрунзе, немного смягчившись, сказал:

— Я знаю твое болезненное состояние, но если ты не в силах был охватить работу, надо было отказаться от нее. Против воли тебя никто бы не заставил. А так — приходится полностью отвечать за себя. По пословице: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж!»

— Михаил Васильевич, у нас не все плохо!

— Хорошо! — сказал он, не глядя мне в глаза. — Сейчас поедем в военный городок.

Ему было стыдно за меня! Молча мы вернулись в вагон. Продолжался разговор с Луховицким, я его не слышал, погруженный в свои думы. Долго чего-то ждали; потом выяснилось, ждали автодрезину.

Вот наконец подошла автодрезина. Луховицкий тоже хотел ехать с нами на смотр. Фрунзе запротестовал:

— Николай Всеволодович, там версты три идти пешком! По вязкому песку.

Старик ответил с учтивой улыбкой:

— Я старый солдат. Но если вы настаиваете — остаюсь!

Я понял — Фрунзе не решался брать его с собой. Боялся неприятных сюрпризов!

Молча мы доехали до полустанка. Почти не разговаривая, группой в восемь человек прошли полтора километра до военного городка.

Нас встретили восточным оркестром, с бубнами. Вся бригада в строю, командир четко рапортовал Фрунзе. Прилично обмундированные бойцы стояли хорошо, и Фрунзе повеселел.

Он вышел перед строем и заговорил. Я видел, как дрогнули лица красноармейцев, как поднялись брови у командира, и сам был удивлен не меньше, чем они. С подъемом, без запинки Фрунзе заговорил по-татарски. Бойцы улыбались и силились подавить улыбки, помня, что находятся под командой «смирно», но удовольствие распирало их, и лица расплывались все шире и шире.

Я видел Фрунзе как бы новыми глазами. Такой же скуластый и загорелый, как они, в такой же гимнастерке и фуражке, как у них, с опущенными усами, здесь, среди песков, говоривший непонятные мне, гортанные и мягкие слова, он показался мне монголом. Он был так же дома, на месте здесь, как и у нас в Иванове!

Он говорил, и люди, с подобранными лицами, слушали его, не утомляясь необходимостью стоять смирно. Я слушал его, глядя ему в лицо, в лица бойцов, и я понимал, меня захватывало то, о чем он говорил. Он кончил речь словами: «Бинията газават!», и красноармейцы закричали:

— Да здравствуют Советы!

И я вдруг не только подумал, всем сердцем своим ощутил — ведь это всемирная история, то, что творится на наших глазах! Этот близкий, родной нам всем человек

и издавна знакомый позглас «да здравствуют Советы» здесь, в глубине Азии!

Величайшие события, перед которыми «сорок веков, глядевших с высоты пирамид» и все прославленные наполеоновские походы — детские пустяки, предыстория человечества!

Команда «вольно», бойцы окружили Фрунзе, повели его по лагерю. Заходили в каждую палатку, осмотрели начищенные винтовки, составленные в козлы, клуб на открытом воздухе, гимнастический городок, гигантские шаги, цветники, портрет Ленина, сложенный из разноцветных камешков. Фрунзе обошел весь лагерь, довольный, вытирая платком пот со лба.

Обедать сели за длинные деревянные столы под тентом. Фрунзе хвалил борщ:

— Бик якши!

Некоторых бойцов Фрунзе называл по именам и не столько ел, сколько перекликался то с одним, то с другим. Ему явно хотелось сидеть за всеми столами одновременно. Почти все время он говорил по-татарски, как вдруг взволнованным голосом, по-русски, закричал:

— Где поросята? Почему не показали поросят?

Он выскочил из-за стола. Два красноармейца побежали впереди Фрунзе, другие пошли за ним, подобрав со стола корки хлеба.

— Что за поросята? Откуда поросята? — с беспокойством спрашивал я командира и комиссара.

Мы еще не дошли до маленького сарайчика за кухней, как в нем послышались возня и визг.

— Чуют! — улыбнулись красноармейцы.

Открыли дверь сарайчика, и из темноты, низко неся головы, с воплями бросились к загородке подслеповатые, увесистые подсвинки. Они жевали, чавкая, брошенный им

хлеб, увертывались от протянутых к ним рук, возмущались, сталкиваясь, и успокаивались, хрюкая, когда у них чесали за ухом. Красноармейцы называли каждого поросенка по имени:

— Дутов, Колчак, Каледин, Денкина, Юденко, Корнилов, Мадомин-бек.

Фрунзе так глядел на свиней, что я стал внимательно присматриваться к ним, но ничего особенного не заметил. Он сел на корточки и протянул руку за загородку. Чужого постороннего, поросята шархнулись от него. По моему расчету, уже давно была пора заканчивать осмотр, а он все стоял, смеялся и любовался поросятами.

Я редко видел его таким веселым, как в тот день. Долго он прощался с красноармейцами. Некоторые давали ему свои домашние адреса и на ломаном русском языке объясняли, как попасть в их деревни. Иные старались соблазнить его близостью своих деревень от железнодорожных станций и пристаней.

Он с такой готовностью брал эти адреса, что я подумал: «Если он и не приедет, то когда-нибудь наверняка напишет кому-нибудь из них».

На прощание Фрунзе обнял командира и комиссара. Вот мы наконец простились, пошли, и... все бойцы двинулись нас провожать. И когда уже окончательно простились на полустанке, помахали фуражками, руками и платками, Фрунзе оставался все таким же разговорчивым и добрым.

— Вы подумайте, — говорил он, — ведь свинья у мусульман считается нечистым животным уже тысячи лет! Коран только узаконил давнишний предрассудок. Скажите магометанину, что мясо, которое он ел вчера или на прошлой неделе, свинина, — его вырвет. Татары очень добродушный народ, но покажите религиозному татарину!



подобие свиного уха, он полезет драться. Да, Восток! Помню Киргизию, юрты зажиточных кочевников: мужчины едят баранину, сидя вокруг большого блюда, а женщины стоят за их спиной, ждут, когда им останутся объедки, и перекладывают эти объедки в особую посуду, чтобы «не запоганить» блюда. А наши староверы, которые ни за что не будут пить из ковша, если узнают, что ты когда-нибудь из него пил? Люди веками воспитывались и презренин, в брезгливости друг к другу. Возьмите Индию: там девочкам дают при рождении такие имена, как «Гнида», «Падаль», «Смердящая», записывают эти имена в документах. А как у нас прилепляли многим поколениям фамилии — Лохмачев, Скотинини?

И вот проходит каких-нибудь два года революции, — продолжал он, — и меняется не только сознание, меняется все! Видели, как они стояли в строю? С каким достоинством держали себя? Нет, — запальчиво сказал он, — мы будем олухами царя небесного, если с таким народом к осени не очистим Среднюю Азию!

Он замолчал и вдруг, опять оживившись, тронул меня за рукав:

— Посмотри, вон сторожка, колодец, арык, и человек в самом центре пустыни снимает по два урожая в году: урюк у него прет из стены, пшеница растёт у порога!.. Я ручаюсь, — воскликнул он, — вернемся в бригаду, девяносто процентов бойцов окажутся честнее, умнее, энергичнее этого свистуна, у которого «лопнула ось»! Поработать с людьми два-три года, и сколько выйдет замечательных руководителей? А мы только руками разводим: «Ах, Азия, ах, пески, ах, отсталость населения!» А отсталое население какие урожаи получает среди сыпучих песков? Каждую горстку плодородной земли переносят на плечах, ежедневно поят водой. Арыки создали, сложные системы орошения — тысячелетия назад!

Когда мы расставались, он задержал мою руку своей.

— Что с тобой? У тебя совсем больной вид!

— Тропическая лихорадка. Хина уже не помогает.

— Что же ты молчал до сих пор? — встревожился Фрунзе. — Это такая гадость! Люди умирают от нее. Тем более неприспособленные к климату. Сегодня же подавай рапорт! Перебросим куда-нибудь поближе к Волге.

— Если от меня хоть какая-нибудь польза здесь, хотел бы тут доработать до конца войны. Только если можно прислать помощника из проверенных людей... Во время приступов начисто выхожу из строя...

— Надо было написать мне! Давно надо было написать! Помощника, конечно, пришлем. А что дома у тебя? Как Аня? Как приемная дочка твоя? Лучше стало снабжение в Иванове?

Я достал из нагрудного кармана гимнастерки портрет Лены. Улыбающееся большеглазое лицо, две жиденькие косички с бантами.

— Славная девочка, — задумчиво сказал Фрунзе. — Учится?

— Перешла в пятую группу.

— Только очень худа. Щеки совсем ввалились. Индусское дитя! Кончать войну! Скорее кончать войну! — сказал он, пристально рассматривая фотографию.

## 15. КРАСОТА ВОСТОКА

Далеко не сразу разобрался я в том, что творилось тогда в Средней Азии. И сейчас это трудно передать в немногих словах, а сколько тогда было путаницы, неразберихи, неожиданных неприятностей!

Первое впечатление было замечательное.

Мы выехали из Оренбурга в морозный день, по дороге несколько раз попадали в буран, выходили всем поездом и расчищали снег. Почти не встречалось человеческого жилья. Ни топлива, ни воды, ни продуктов, ничего нельзя было найти на полуразрушенных станциях. Снег, ветер, обледенелые сугробы на перронах.

А когда, через две с половиной недели, мы добрались до Ташкента, там всюду светило солнце, небо было ярко-голубое, каким я никогда в жизни его не видел, и тепло, благодать, можно было ходить в одной рубашке. На улицах народ в причудливых одеждах. Сразу бросилось в глаза что-то настолько знакомое в этой толпе, словно я был уже здесь или много раз видел все это во сне.

В детстве мать приносила нам с фабрики лоскутки товара, на котором она работала в ту пору, кусочки материи в яркую полоску. Это были любимые наши игрушки. Сестры копили лоскутки и спорили из-за них, для меня бабушка мастерила мячи из бумаги и тряпок и обшивала их цветными обрезками. Никто в Иваново-Вознесенске в такие ткани не одевался, нам, детям, казалось, что они идут куда-нибудь для царей и цариц. На самом деле это были дешевенькие сорта так называемого колониального ситца. В Ташкенте я увидел вдруг целый город, одетый в эти ситцы. Передо мной точно задвигались и пошли радости моего детства.

Потом я увидел дехкан, идущих с полей, загорелых до медно-черного отлива, с кетнями на плечах, и с удивлением узнавал — здесь нет плугов, здесь не знают заступов и лопат. Я думал: «Сколько же они могут поработать этими мотыгами?» Мне казалось, кетмени годятся только, чтобы пропалывать грядки. Я видел чайханы — мужчины в красивых халатах и шитых золотом тюбетейках, стариков с морщинистыми, землистыми ли-

нами, с погтями, выкрашенными в вишневый цвет, и с ярко-рыжими крашеными бородами. Мужчины сидели в чайхане с утра до вечера, пили чай из пивал, беседовали, играли в кости. Когда ни зайдешь в чайхану — всегда полно.

«Что же они делают? — думал я. — И когда они работают?»

А по улицам шли сторонкой женщины, укутанные до пят, в серых саванах, похожие на покойников, вышедших из могил. И вблизи не разберешь, то ли это девушка восемнадцати лет, то ли старуха лет семидесяти. Лица у всех женщин были закрыты чачванами — густыми грубыми черными сетками, сплетенными из конского волоса. Чачван доходил до пояса, и женщина все придерживала чачван обеими руками, прижимала к груди, чтобы — боже упаси! — как-нибудь не отдуло его ветром и кто-нибудь хоть сбоку не увидел ее лица.

Товарищи меня предупредили: и не пытайся заглядывать под чачван, — муж, если заметит, может пырнуть ножом! Даже искоса заглянуть под чачван — все равно что покуситься на чужую собственность. Жену муж может после этого зарезать, предупредили меня товарищи. И все его родственники и знакомые и даже родственники его жены не осудят его за это, а, наоборот, скажут: «Молодец!»

Я приехал в Чимкент и начал работать в гуще населения. Бывали случаи, когда, не понимая ни слова по-русски, — любого русского принимая за беспощадное начальство, дехкане с напряжением слушали меня и переводчика на собрании, потом вставали и в середине собрания уходили, как по команде. Бывали и такие случаи: я по часу, по два говорил: «Все нации равны, мы теперь

будем дружно строить общее хозяйство», и вдруг старики вызвали меня и переводчика во двор и шепотом предлагали взятку.

— Почему вы не сеете хлопок? — спрашивал я через переводчика, и мне отвечали:

— От хлопка пойдет дурная болезнь, чернота на коже, человек скорчится и умрет.

— Кто вам сказал?

— Мы знаем.

— Кто вам сказал такую глупость?

— Мы знаем, — отвечали они уклончиво, и только потом выяснилось — муллы пустили слух: каждого, кто будет сеять хлопок, заберет новая, невиданная еще болезнь!

Местные работники, вроде моего начхоза, говорили, презрительно пожимая плечами:

— Что с ними толковать? Все равно ничего не понимают!

Вот так же кадетствующие студенты и адвокаты, вертлявые, прилизанные хлыщи говорили когда-то о нас, рабочих, — все равно ничего не понимают! Нахватавшись общих слов, не зная даже, в какую сторону зянт повернуть и как узел завязать, не умея ведра воды из колодца вытянуть и комнаты прибрать за собой, они называли «дикарями» нас, одевавших Европу и Азию!

Пусть я не знал ни истории колониальной политики, ни восточных языков, ни культуры Туркестана, все равно невозможно было поверить, чтобы старики, вырастившие десятки детей и внуков, много лет разнообразным трудом добывавшие пропитание среди пустынь, так-таки решительно «ничего не понимали».

В Ташкенте Фрунзе водил нас осматривать старый город, мечети, базар. Было приятно ходить по незнако-

мым местам, слушать Михаила Васильевича, читавшего нам на ходу лекции о местных обычаях и нравах. Но что особенного было в этих мечетях, в кувшинах, в коврах, мы плохо понимали и, признаться, нередко скучали, пока Фрунзе любовался каким-нибудь минаретом или рукояткой старинной сабли.

Он заметил это и стал обращать наше внимание то на микроскопическую тщательность ручной отделки, то на сложность рисунка, то на прочность красок, не выгоравших от солнца.

Вдумываясь в то, как трудно было выдержать от руки правильность повторения в сложном узоре, где для каждого завитка требовалась отдельная работа, и внимание, и расчет, я постепенно научился понимать красоту Востока.

Возникало уважение к народу, который нашел в себе способность еще в глубокой древности все это выдумать, создать и выполнить с таким глазомером и терпением, изобрести составы красок в тысячу раз более стойкие, чем краски на наших ситцах.

Фрунзе рассказал нам о больших городах, о разнообразном земледелии, об арыках, какие существовали здесь во времена, когда на месте Москвы и Иванова рос непроходимый лес.

— Татарские ханы, завоевавшие Россию, считались подданными Тамерлана, царствовавшего в Туркестане, — говорил Михаил Васильевич. — Ученые много писали о жестокостях Тамерлана, о том, что он был хромым, что имя его — Тимур — означает «железо», но мало задумывались над тем, как же он сумел подчинить себе десятки народов и племен с высоким по тому времени уровнем культуры. Тимур создал настолько стройную организацию армии и государства, так наладил базы снабжения, что перебрасывал через пустыни, считавшиеся не-

проходимыми, многотысячные отряды всадников. Вооружение его войск было наиболее совершенным в то время. Чтобы создать такое вооружение для огромных армий, в древних мусульманских городах должна была существовать высокоразвитая экономика и культура ремесла, — рассказывал нам Фрунзе.

Чиновники старого режима, невежды, обиравшие население, называли народы Средней Азии «невосприимчивыми к организации». Но до революции очень часто то там, то здесь в Туркестане начинались народные восстания, охватывавшие большие районы. Царское правительство за много десятков лет так и не сумело «замирить» Туркестан.

Едва мы приехали в Ташкент, как местные работники на все лады начали повторять нам: «Басмачи, басмачи!» Закатывая глаза, жаловались: «Басмачи!»

Отряды туземных всадников под предводительством «курбаши» — профессиональных военных организаторов — налетали среди бела дня на гарнизоны, на железнодорожные станции и города, убивали красноармейцев, советских работников, ломали оборудование, рвали телеграфные провода и исчезали так же внезапно, как появлялись. В Ташкенте ждали, что победитель Колчака приведет с собой стотысячные армии для искоренения разбойничьих шашек.

Фрунзе привез с собой группу политических, военных и хозяйственных работников и в первую очередь занялся и басмачами, и местным советским аппаратом. Владея несколькими восточными наречиями, зная обычаи народа с детства, помня историю края и колониальной политики царизма не только по книгам, но и по живым впечатлениям, Фрунзе в одном из первых своих приказов по Туркестанскому фронту приветствовал народы Средней Азии, как своих земляков.

Когда в Казахстане два старика-кочевника в лохмотьях разыскали Фрунзе, вошли к нему и упали перед ним на колени, он, стыдясь за их унижение, со слезами на глазах поднял их.

Рассылая нас из Ташкента по местам, он говорил нам:

— Прежде всего узнайте, как и чем живет население. Сумейте понять и полюбить народ.

Вместе с Фрунзе работал в Средней Азии и Валерий Владимирович Куйбышев. Их называли «неразлучными», но, по-моему, это не совсем точно: работая в Туркестане, они то и дело разлучались и разговаривали, мне кажется, чаще всего по прямому проводу. Тем удивительнее для обывателей было единство суждений того и другого.

Бывали случаи, когда, выслушав решение Куйбышева по какому-нибудь запутанному вопросу и недовольные этим решением, местные работники ехали за четыреста — пятьсот километров к Фрунзе. Скрывали от него, что обращались к члену Реввоенсовета, объясняли Фрунзе свое дело, и он отвечал им не только то же, но и почти теми же словами, что и Куйбышев.

При разброде, какой был характерен тогда для туркестанских работников, эта внутренняя сработанность двух единомышленников, марксистов-ленинцев, казалась им волшебством, и если бы им сказали, что Куйбышев опередив их, перелетел по воздуху и находится теперь у Фрунзе, мне думается, они поверили бы.

Пока мы пробирались к Средней Азии в заволжских и уральских степях, в Туркестане от имени советской власти выступали случайные люди. Злоупотребления, взяточничество, пренебрежение к нуждам населения, к национальным кадрам посеяли такое недоверие к местным властям, что первые дни к нам боялись и считали



бесплезным обращаться с жалобами. Потом посыпались заявления, потянулись ходокн, и голова пошла кругом. Пришлось расхлебывать кашу, какую наварили тут за многие десятилетия, отвечать за политику старой России.

Здесь по подложным документам отняли участок земли у дехканна, и вот уже шестнадцать лет как он ходит по канцеляриям и судам; тут одиннадцатилетнюю девочку продали за мешок пшеницы; там председатель волостного ревкома отнял — просто так, за здорово живешь! — у соседа двух овец. В Чимкенте ко мне шли даже с домашними делами, не считаясь с тем, что я только военный комиссар. И я сам часто забывал о своей «специальности».

Фрунзе писал в приказе войскам Туркестанского фронта:

«Каждый красноармеец, возбуждающий недовольство местного населения, является предателем российской и мировой революции. Каждый красноармеец, который не остановит своего товарища от каких-либо насилий и обид, им учиняемых, является соучастником в деле уничтожения революции, является сознательным контрреволюционером».

По всей Средней Азии мы начали вылавливать и предавать суду насильников и жуликов. Мы выбрасывали их из военного и гражданского аппарата, заменяли их новыми людьми из местного населения. Когда эта работа была закончена вчерне, Фрунзе обнародовал воззвание, мелость которого поразила многих из нас:

«Басмачи не просто разбойники, — писал Фрунзе, — если бы это было так, то, понятно, с ними давно было бы окончено. Нет, главные силы басмачества составляли отни и тысячи тех, которых так или иначе задела

или обидела прежняя власть: не видя нигде защиты, они ушли к басмачам и тем придали им небывалую силу».

В Фергане, главном районе басмачества, это воззвание, отпечатанное на тюркеском языке, было распространено в двадцати тысячах экземпляров.

Видя, как растет доверие населения к местным органам власти, на нашу сторону начали переходить и басмачи, а вслед за ними являлись с повинной их вожди «курбаши», вплоть до самых крупных. Фрунзе не только прощал их, но порой привлекал на службу в Красную Армию. Созванный в Ашхабаде съезд депутатов всех туркменских племен превратился в народный праздник. Пешком и верхом в Ашхабад стекались гости, на улицах говорили на всех наречиях. Фрунзе писал со съезда Ленину, внимательно следившему за тем, что делалось в Средней Азии: «Английские власти в Хорасане отчаянно нервничают».

Слух о съезде племен, о новой справедливой власти прокатился и в Бухаре, и в Персии, и в Афганистане. Коммунистическая партия Бухары, принадлежность к которой каралась смертью, тем не менее крепла и росла в подполье.

Встревоженные нашей растущей силой, агенты империалистических правительств толкали эмира к войне с нами, помогали ему деньгами, оружием, делали все для того, чтобы возродить потерявшее опору в народе басмаческое движение. Развращенные раздольной разбойничьей жизнью, нажившие немалые капиталы грабежом, басмаческие вожди в большинстве своем не захотели мириться с дисциплиной Красной Армии и изменили нам. Вновь началась кровавая борьба в Фергане. Но массы трудового мусульманского населения шли теперь за нами.

Эмир бухарский наводнил Туркестан шпионами и провокаторами. Баи и муллы вели подрывную работу в нашем тылу. Советская Россия, бросившая все свои силы на польский фронт, не могла в то лето помочь нам людьми. Вооруженные силы эмира бухарского были во много раз большими, чем у нас. Тем не менее Фрунзе решил не только не отдавать эмиру Среднюю Азию, но и взять на себя инициативу в борьбе, предупредить нападение.

Формируя местные кавалерийские, пехотные, саперные части, создав воздушные отряды, бронепоезда, отряды броневиков, передвижные авторемонтные мастерские, Фрунзе рассчитывал не на людской перевес в предстоящих боях, а на технику, организацию. Он знал, что войска противника, недовольные войной и втайне сочувствовавшие нам, дрогнут от первых крепких ударов.

Война с эмиром началась при мне, но мне уже не удалось увидеть ее развязки.

Болезнь моя перешла в токсическую форму, и меня положили в госпиталь. Когда я очнулся и, держась за санитаря, начал учиться ходить, открылись раны на ногах, полученные на царской войне. Врачебная комиссия, не дожидаясь, пока я встану на ноги, вынесла решение: «Отправить в глубь России».

Санитарным поездом меня везли так долго, что я успел окрепнуть дорогой, сам вылез из вагона в Иванове, опираясь на костыли, и засмеялся, увидев на перроне Аню и Лену.

Но долго еще потом мне снилась Средняя Азия.

В 1920 году в ивановском губисполкоме получили с нарочным из Средней Азии деревянный ящик, похожий на гроб. Под нетесаными серыми досками, под старыми газетами и ватным тряпьем лежал бархатный темно-малиновый халат с узорами из жемчуга и цветами из чеканного золота. Лежали расшитая золотом и жемчугом тю-

бетейка, сабля и книжки, украшенные бриллиантами и бирюзой. При ящике сопроводительная записка:

«Халат эмира бухарского, оружие Мадоми-бега и других басмаческих вождей, в подарок ивановскому мужею М. Фрунзе».

Халат был так тяжел, что, отошавшие от недоедания, мы с трудом поднимали его. Он весил больше пятидесяти килограммов! Как носил его эмир? Несколько тысяч жемчужин, большие золотые цветы. Мы рассматривали филигранную восточную работу: лепестки из металла, бриллианты на рукоятках сабель, и я подумал: «Конец войне!»

\* \* \*

Но это был не конец! Когда мы в Иванове получили халат эмира, Фрунзе был уже на новом фронте.

Захватив Крым, врангелевские полчища двинулись через Донецкий бассейн на Москву. Наиболее молодой, расчетливый и энергичный из всех белогвардейских генералов, Врангель, учтя опыт Деникина и Колчака, обещал помещичьи земли кулакам, заигрывал с населением. Империалистические державы посылали в помощь ему своих дипломатов, деньги, танки, самолеты и свои военные корабли. Красная Армия отступала с катастрофической быстротой. Пала Юзовка, центр Донбасса.

Фрунзе был назначен командующим Южным фронтом.

Ленин вызвал его из Туркестана и сказал:

— Затяжка войны еще на год означает неминуемую гибель революции.

Стремительным наступлением Фрунзе выбросил врангелевцев из Донбасса, из Северной Таврии, с Каховского плацдарма.

Иностранные инженеры построили белогвардейцам неприступную оборонительную линию, теперь сказали — «линию Врангеля», на Перекопском перешейке. Вошли в это строительство миллионы золотых франков. Парижские газеты писали о перекопских укреплениях: «Это второй Верден».

Ленин, внимательно следивший за Южным фронтом, дал Фрунзе телеграмму: «Разведать броды через Сиваш».

Фрунзе нашел и изучил одиннадцать бродов через Сиваш. Через Сивашский пролив он ударил врангелевцам во фланг и тыл и вышел на Литовский полуостров зади и сбоку перекопских укреплений. В панике оставив «второй Верден», врангелевцы свалились к морю, к иностранным военным кораблям, и корабли эти, не успев даже захватить с берега всех белогвардейцев, спешно отчалили к Константинополю.

В крепко запомнившемся мне разговоре в Чимкенте Фрунзе собирался к зиме очистить Среднюю Азию. К зиме он освободил и Среднюю Азию и Крым. Уже в ноябре у нас в Иванове шутили:

— Что-то Михаил Васильевич нас начал забывать! Где халат Врангеля?

## 16. ПОЛКОВОДЕЦ, УЧЕНЫЙ, НАРОДНЫЙ ТРИБУН

Но он ивановцев не забыл! Назначенный командующим вооруженными силами Украины и Крыма, приехал в несколько дней погостить в любимый город.

Теперь он был не только нашим, ивановским героем. Во всей стране люди узнавали его в лицо на улицах. В военных английских журналах Фрунзе называли крупнейшим полководцем эпохи. «В возрасте тридцати четы-

рех лет он разбил адмирала Колчака, образованнейшего военного специалиста. В чем секрет успехов Фрунзе? — гадали английские журналисты.— Может быть, в счастливом сочетании молдавской, древнеримской крови его отца и крови воронежских крестьян и донских казаков его матери?»

Падкие на сенсацию знахари капиталистической прессы не скупилась на фантазии, чтобы раскрыть причину поразительных успехов Фрунзе. Одного они не хотели признать: Фрунзе был прежде всего образованным марксистом, верным учеником Ленина, потому он и рос с «чудесной» быстротой как военный руководитель. Будучи самого скромного мнения о своих познаниях, он не переставал учиться в любых условиях и умел, с тактом и сердечностью, привлекать к работе всех честных, знающих специалистов.

Федор Федорович Новицкий, генерал царской армии, один из образованнейших военных того времени, рассказывал мне в последние годы своей жизни:

«Не знаю, в чем секрет человеческого обаяния Михаила Васильевича, но было очень легко работать с ним. В академической среде старых военных мне не приходилось встречать людей такого типа. Фрунзе был удивительно восприимчив и отзывчив. Он не боялся принимать оригинальные решения, нарушать то, «что принято» в военном деле. Меньше всего он был похож на тех генштабистов, для которых военная карта — шахматная доска. За каждой боевой операцией он видел людей. Он буквально впитывал в себя военные знания, однако не с тем, чтобы коллекционировать их, а для того, чтобы как можно скорее пустить их в дело».

Скромность Михаила Васильевича была не нангранной, она вошла в его плоть и кровь. Будучи народным комиссаром по военным и морским делам, автором ряда

научных трудов, он в анкете, в графе «специальность», написал: «Столярное дело и военное». До последних лет своей жизни он говорил о себе: «Я воспитанник иваново-вознесенских и шуйских рабочих».

Торжественный вечер в губернском комитете партии, в невысоком зале бывшего купеческого особняка. Люстры, канделябры. Высокие резные спинки темных дубовых кресел. Чужой, безрадостный уют, сумрачные аксессуары навсегда потопленного нами мира.

Бутерброды с жесткой грудинкой, первые советские пирожные из ржаной муки. Мы курили серые папиросы, табак в которых, едва его подожжешь, трещал и, распухая, вылезал из гильз. Мы чувствовали себя еще побивачному, но настроение было расчудесным.

Со всех сторон слышалось: «А помнишь? Помнишь?» Фрунзе шутил и веселился, помнил все и всех, интересовался всем, между прочим спрашивал:

— Добываете торф? Сколько пустили веретен на фабриках?

Его попросили выступить, поделиться воспоминаниями о гражданской войне, и, став серьезным, поднявшись в притихшем зале, он начал говорить о жертвах, какие понесла страна, о многих тысячах бойцов, polegших под одним только Перекопом. Он говорил о незасеянных полях, о паровозах, валявшихся под откосами, о Поволжье, о бездомных детях.

— Посмотрите, — сказал он, — как люди едят теперь хлеб: они ломают кусок над ладонью, подхватывают каждую упавшую крошку и несут ее в рот. Мы были до войны отсталым и нищим государством, война отбросила нас еще на много лет назад. У вас, в Иванове, работают некоторые фабрики, а в других промышленных районах они стоят.

Мы сейчас опять у самого начала того пути, с которого нас сбили в первые месяцы революции, — продолжал Фрунзе. — Создать на обломках дореволюционной нищеты культурную, могущественную страну, оплот мирового рабочего движения, добиться того, чтобы такие же промышленные центры, такие же люди и отношения, такие же источники революционной энергии и дисциплины, как Иваново и Шуя, возникли всюду на нашей земле, и в Заповолжье, и в Средней Азии, и в Сибири, чтобы на основе самой высокой современной техники навсегда распрощаться с идиотизмом собственнической деревенской жизни, — это звучит сейчас как далекая мечта, но это не мечта! Разве не казалась нам совсем недавно, на Талке, далекой мечтой идея своего государства? Вспомните, что было у нас всего лишь несколько лет назад: рубцы от нагаек, ножные и ручные кандалы! Но у нас была партия, какой не имела ни одна революция прошлого, и мы победили. За партию, за рабочий класс, за родное наше государство, которое мы, как детище свое, отстаивали в боях! — сказал он, подняв стакан.

Вскоре после этой встречи мы прочли в центральной печати статью Фрунзе: «Единая военная доктрина и Красная Армия». Недавно я перечитал ее, она поразила меня глубиной анализа, научного предвидения: тем, что Герцен называл «физической силой ума».

Фрунзе предсказывал: благодаря возрастающей технической оснащенности и подвижности армий войны будущего станут в основном маневренными, похожими на нашу гражданскую войну и совсем иными, чем позиционная война 1914 — 1918 годов.

В последующих своих статьях он еще более прямо выразил ту же мысль. Он писал: «В настоящее время мощное развитие авиационных сил, мощное развитие химии и других средств борьбы приводит к тому, что непрерыв-



ная, неподвижная линия фронта вряд ли мыслима на сколько-нибудь значительном протяжении и на сколько-нибудь длительное время. Всегда явится возможность зайти в тыл противника, явится возможность нанести удар базам противника и даже вообще местам, не имеющим непосредственного военного значения».

В 1925 году, по предложению Центрального Комитета партии, Фрунзе был назначен народным комиссаром по военным и морским делам. Работая в те годы над реорганизацией армий, председательствуя в Реввоенсовете республики, объезжая заводы военной промышленности, гарнизоны, школы командного состава, руководя маневрами, Михаил Васильевич продолжал теоретическую работу. Следя за английской, французской, американской печатью, за специальными и общими изданиями, он отмечал в своих выступлениях и статьях характерные черты перевооружения иностранных армий, обрисовывал американский опыт военной подготовки в высших школах, написал по первоисточникам научно-исследовательский труд «Европейские цивилизаторы в Марокко».

Он предсказывал: «Война будущего в значительной мере, если не целиком, будет войной машин». И вместе с тем отмечал: «Все-таки решающая роль принадлежит не технике — за техникой всегда находится живой человек, без которого техника мертва».

Отмечая высказывания Энгельса и Бернгарди об артельном инстинкте старых русских солдат, Фрунзе считал, что качеств, воспитанных патриархальной общиной, в наше время бойцу было мало. «Без значительной степени умственного развития солдата ведение современного сложного и в то же время крайне дифференцированного боя — дело безнадежное». «Идеального солдата для современного боя может дать только крупное машинное производство, вырабатывающее в рабочем наряде с

общественностью сознания все черты яркой индивидуальности: силу воли, сметливость, выдержку, техническую подготовку и инициативность», — писал Михаил Васильевич.

Он не переставал учиться и в последние свои дни, используя каждую минуту.

В своих воспоминаниях Климент Ефремович Ворошилов говорит:

«Лежа в больнице, Михаил Васильевич, как всегда, обложил себя книгами, русскими и французскими. Мы часто и подолгу сидели у него в 19-й палате Кремлевской больницы. Эта маленькая комната скоро сделалась своеобразным политическим клубом, где обсуждались и разрешались сложнейшие и разнообразнейшие вопросы».

Когда Фрунзе работал на Украине, его речи печатались в харьковском «Коммунисте». Этой газеты не было в наших городских киосках. Я заходил по вечерам в редакцию «Рабочего края» — там получали два обменных экземпляра «Коммуниста» — посмотреть, нет ли чего-нибудь написанного и сказанного Михаилом Васильевичем. В одиннадцатом, в двенадцатом часу ночи, сидя у стола секретаря редакций, я просматривал «Коммуниста», и, если не было ничего за подписью Фрунзе, я находил в других статьях, в очерках, в хроникерских заметках следы его деятельности на Украине. Командуя вооруженными силами Украины и Крыма, ликвидируя остатки бандитизма, он вместе с тем как заместитель председателя украинского Совнаркома занимался хозяйственным строительством, здравоохранением, школами, театрами.

Потом я стал читать его статьи и стенограммы его речей в «Правде». Я находил их иногда, не глядя на подпись, по нескольким строкам текста. Независимо от того, в какое время, в каких условиях, по какому поводу и как

бы коротко и торопливо он ни высказывался,— это был Фрунзе и никто другой!

Вот его записка к друзьям из Николаевского каторжного центра, на шестом году тюремного заключения:

«На мне возят воду. Чувствую себя слабым. Пришли-те письмо с нарочным. Хочется узнать о действительной жизни. Но не теряю бодрости духа. Судя по лицу даже тюремной стражи, вижу, что на воле повеяло новыми веяниями, по солиду вижу перемену жизни. Надо пережить все до конца».

Вот слова из его приказа по армии Южного фронта в момент ожесточенной борьбы за Перекоп:

«Реввоенсовет Южного фронта приказывает всем бойцам Красной Армии щадить сдающихся и пленных. Красноармеец страшен только для врага. Он рыцарь по отношению к побежденным».

Нарком по военным и морским делам, он говорил на Всероссийском съезде учителей: «Мы боремся против всякой нищеты и против всякого страдания». И когда я теперь, наедине с самим собой, перечитываю эти слова, мне кажется, я слышу живой голос Арсения.

В губернской комиссии по истории партии, разбирая документы подполья, мы старались установить, кто являлся автором той или иной листовки. Издавались они без подписей, от имени Иваново-Вознесенского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Я без колебания отбирал листовки, написанные Трифоновым.

Некоторые товарищи из комиссии говорили:

— Нельзя так самонадеянно полагаться на память! Слишком много лет прошло, кое-что можно и перепутать.

Но я и не полагался на свою память. Некоторые лис-

товки Арсения, изданные в Шуге, я видел впервые. Я узнавал, что это он написал, по тону сердца. Товарищевой комиссией так и не удалось убедить: они упрекнули меня, полшутя-полусерьезно, в идеализме и чуть ли не в мистике.

Осенью 1925 года я ехал в Крым. Ивановский Истпарт дал мне попутную командировку к Фрунзе, лечившемуся в Мухалатке, с просьбой поставить визу на каждом написанном им документе.

## 17. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

И вот я снова еду к нему после долгой разлуки. Мне говорили, что здоровье его сильно расшатано, что у него острые желудочные боли, что он попал в автомобильную катастрофу, поломал руки и ноги. Почку его были повреждены еще в полицейских участках. Но как-то не верилось, что с ним может что-нибудь случиться.

Нам в комиссию прислали записанную в Актюбинске казахскую легенду о Фрунзе, богатыре,— его не берет ни пуля, ни сабля. Народ не верил, что с ним может что-нибудь случиться. Однако где-то в подсознании нарастала тревога за его здоровье, тревога, в которой я боялся признаться и самому себе. Долгие годы в каторжных тюрьмах глубоко подорвали организм Михаила Васильевича. В тюрьме от цинги и истощения у него шатались и крошились зубы, болели глаза. Несколько раз он начинал слепнуть, не мог читать и ходил ощупью по камере. Все это не могло пройти бесследно.

Вот я в Крыму. Маленькие станции, малолюдный санаторий. В те годы отдыхающих в Крыму было немного. Мухалатка — километрах в двенадцати от санатория, в который мне дали путевку. Автобусов, лошадей в нашем

санатории не было. С толстым портфелем я пошел к Фрунзе по щебенке шоссе.

По дороге некого было спросить: так ли я иду? Только однажды крестьянская арба попалась навстречу.

В вестибюле с красными ковровыми дорожками меня остановил дежурный в военной форме, просмотрел мои документы и сказал:

— Во втором этаже, последняя дверь направо.

Дверь комнаты Фрунзе была приоткрыта. Бокон ко мне он сидел за столом и писал. Я сказал вполголоса:

— Михаил Васильевич!

С натугой поднявшись с кресла, с опухшим лицом, с сединой в волосах, озабоченный, еще почти целиком сосредоточенный на своих мыслях, он пошел ко мне. И с искорками, загоревшимися в глазах, начал меня тормошить:

— Что нового там у вас? Как ты добрался? Здесь хорошо, правда? Хочешь чаю? Бери вот это, — поставил он передо мной коробку с засахаренными фруктами.

Я стал рассказывать об Иванове, о наших успехах, о полностью восстановленных фабриках, о школах, клубах, яслях. Я сообщал ему цифры роста выработки по приделению и ткачеству, но замечал, что он опять впадает в задумчивость и временами точно не слышит меня.

— Где ты работаешь сейчас?

— Там же. В городском Совете.

— Что читаешь?

— Мало читаю, — признался я. — Мало свободного времени. Только-только успеваешь просмотреть газеты.

— Есть в Иванове члены партии, считающие, что мы не сможем своими силами построить социализм? — спросил Фрунзе.

Я ответил:

— Было несколько, но и те теперь отмежевались от своих вождей.

— А нет ли у вас таких, которые, открещиваясь от инноваций, поговаривают, что если капитализм создавал свой производственный аппарат в течение доброй сотни лет, то нам для социализма потребуется, по крайней мере, столько же, что надо увеличивать сначала производство зерна, а не чугуна, что социализм совместим с единоличным хозяйством в деревне?

— И такие люди есть, но их мало.

— Значит, вы уверены: мы сможем построить социализм? — спросил Фрунзе.

— Твердо уверены!

— А когда? Когда мы его построим?

Я подумал и в свою очередь спросил:

— Разве партия уже ставит вопрос о сроках? Мы этого у себя не обсуждали.

— Ну, пусть пока не ставит, но как ты думаешь, твое личное мнение, когда мы его построим?

Я еще раз хорошенько подумал и сказал:

— Если все пойдет нормально, лет через двадцать, двадцать пять.

— А если все пойдет ненормально?

Фрунзе встал, поморщившись, со стула и начал ходить по комнате.

Я чувствовал себя неловко и старался додуматься, чем недоволен Михаил Васильевич, что тревожит его?

— Что у тебя в портфеле? — спросил он, остановившись.

Я объяснил, с каким поручением к нему приехал. Присев к столу, Фрунзе стал рассматривать пожелтевшие от времени листовки. Я попросил его ставить визу на тех, что написаны им, и он взял перо в руки.

Лицо его было хмурым. Он проглядывал листовки, ставил визы, но я видел: он думает о чем-то другом. Постепенно взгляд его смягчился, он улыбался, вчитываясь в архивные документы, качал головой.

— Ой-ой-ой, как плохо! — вдруг воскликнул он.

Он остановился в том месте своего обращения к иваново-вознесенским рабочим, где сравнивал, в дни погромов, пролетарских революционеров с мучениками первых веков христианства.

— Вы думаете это издавать? — спросил он.

— Думаем издавать.

— Кому это может быть интересно, какие наивные сравнения приходили кому-то в голову двадцать лет назад?

Я возразил:

— Но ведь это история.

Он не стал со мной спорить и поставил визу.

— Как тебе кажется: теперь более спокойное время, чем было в те годы?

Меня поразили этот вопрос. До той минуты даже в голову не приходило сравнивать годы мирного строительства, годы уверенного роста страны с теми днями, когда борьба шла на улицах и в цехах, когда нас травили, как зайцев, топтали лошадьми. Но я видел около себя Фрунзе с его тревогой, и мне уже казалось, что не так спокойно вокруг нас.

— Ты вспоминаешь иногда о том, что мы занимаем только одну шестую земного шара, а населения у нас меньше одной десятой части населения всего мира? Отсталая техника, двадцать пять миллионов одиноличных крестьянских дворов. Бездорожье, растянутые границы. И мы живем в мире, где с несбывальной быстротой идет прогресс техники, совершаются поразительные научные открытия. В мире, где обостряются классовые, нацио-

нальные противоречия. Живем в век науки, в век машин, накануне величайших столкновений, когда вопрос стоит, по словам Ленина, так: или погибнуть, или на всех парах устремиться вперед — догонять передовые народы по пути культуры. Разве это спокойное время? Теперь так много нужно знать. Как никогда! — Он помолчал и спросил: — Что у тебя дома? Благополучно в семье? Как твоя приемная дочка? Студентка уже?

— На первом курсе химического института.

— Она была такая худенькая. Поправилась теперь?

— Такая же длинная, большеглазая. Учитяся хорошо.

— Помнишь, Отец — Афанасьев говорил: «Мы прожили нашу жизнь для того, чтобы вы стали разумнее нас». А те, кто идут за нами, — хотелось бы, чтобы они были намного разумнее нас!

Я стал прощаться. Он сказал:

— Пойдем, я тебя подвезу.

Он вытер перо суконкой, сложил бумаги на столе и, запев комнату, положил ключ в карман.

— Одну минуту, — сказал он в коридоре и постучал в соседнюю дверь.

Притворив за собой дверь, он пробыл за ней несколько секунд и вышел улыбаясь. Провожая Фрунзе, в дверях показался Ворошилов, но я не сразу его узнал.

Я первый раз в жизни видел его в очках. Он, очевидно, читал или писал, когда к нему вошел Фрунзе, и в коротком стремительном разговоре не успел снять очков. Стекла на глазах делали его добродушнее и старше. Бросив беглый взгляд на меня, отошедшего в конец коридора, Ворошилов говорил что-то вполголоса Фрунзе.

— Но ведь я уже почти здоров! — улыбаясь, возразил Михаил Васильевич.

Он провел меня во дворик, залитый асфальтом, рас-



крыл обитые планками двери гаража, потрогал ногой баллоны, нагнувшись осмотрел рессоры, сел за руль, сказал мне: «Садись» — и захлопнул дверцу автомобиля. Видимо недовольный замком, раскрыл дверцу и с силой захлопнул ее еще раз.

— Сколько ты шел в Мухалатку? — спросил он.

Я ответил:

— Часа три.

Взглянув на часы, осторожно развернувшись во дворе, как бы выписав циркулем полукруг, Фрунзе вывел автомобиль на шоссе.

Машина покатила с шелестом, стреляя галькой из-под шин. Телеграфные столбы бежали навстречу. Солнце стояло в зените, но от резкого ветра в автомобиле было прохладно.

Михаил Васильевич не произносил ни слова. Округло держа руль, он как бы вот этими раздвинутыми руками и толкал вперед машину и сдерживал ее у канавок с мягкой силой, заставлявшей меня склоняться вперед. Стук мотора постепенно переходил в жужжание. Кусты уже не летели, а текли мимо нас, мы как бы подминали их под себя, и они, извиваясь, превращались в зеленую воду. Мы шли на той скорости, когда исчезает ощущение быстроты, становясь чувством полной власти над пространством. Микроскопические движения пальцев, когда Фрунзе оглябал рытвины на дороге, швыряли нас к другому краю шоссе: Лицо Фрунзе было сосредоточенным, глаза большими.

Я не заметил, как мы очутились перед моим санаторием, и не узнал его. Остановив автомобиль, Фрунзе посмотрел на часы и показал их мне:

— Девять минут! — задорно и весело сказал он. — Мы ехали не три часа, а девять минут! Вот что значит век машин!

\* \* \*

Через несколько месяцев его не стало. Но что значит «его не стало»? Разве такие люди, как Фрунзе, могут исчезнуть с лица земли? Свет его личности, его идеи, его моральное влияние — разве они могут умереть?

В этой книге я описал лишь небольшую часть его жизни, то, что видел сам, то, что слышал от друзей. И это осталось в моей памяти как самое лучшее, самое светлое, навсегда.

Он вырос в условиях старого общества, но именно такими, как Фрунзе, думается мне, будут люди при коммунизме. Он был у нас как бы делегатом от будущего.

1939—1940 гг.

## КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА КНИГА

### *Послесловие автора*

В начале двадцатых годов я учился на литературно-художественном отделении Московского университета вместе с Дмитрием Фурмановым, Марком Колосовым, Иваном Анисимовым. После лекций и семинаров, пренебрегая роскошью трамвайного сообщения, мы обычно пешком шли в центр города, к своим комнатушкам и общежитиям. Нам не было скучно. Все мы прошли гражданскую войну, и у каждого было что рассказать.

Дмитрий Фурманов был старше нас по возрасту и богаче всех по жизненному опыту. С щедростью делился он с нами своими воспоминаниями. Самое большое впечатление произвели на меня его рассказы о Фрунзе. Врезалось в память, как Фрунзе, в камере смертников, закованный в ножные и ручные кандалы, изучал английский язык и готовил по всем предметам к экзаменам на аттестат зрелости Павла Гусева, шуйского рабочего, своего друга и ученика.

Немало из того, что я услышал от Фурманова, вошло в повесть. Которую вы только что закончили читать. Кое-что мне было близко и знакомо: первые годы революции я провел в Пугачеве, Самарской

губернии, и еще шестнадцатилетним комсомольцем не раз видел «в деле» Чаплева.

Однажды Фурманов, обычно сдержанный, признался нам: «Главная цель моей жизни — написать книгу о Фрунзе». За несколько дней до его смерти я спросил его: «Как книга о Фрунзе? Пишется уже?» Фурманов с досадой махнул рукой:

— Куда там, со всей этой текучкой по писательским делам. И потом... Ведь я видел Михаила Васильевича только после революции в Иваново-Вознесенске и на Восточном и Туркестанском фронтах. Подвять несколько томов книги о Фрунзе, пожалуй, под силу не одному, а нескольким писателям. А писательский труд ох как нелегок! Об этом и Фрунзе предупреждал меня. Как-то в Иваново-Вознесенске я признался ему, что мечтаю посвятить себя литературе, и он прочел мне на память отрывок из стихотворения Валерия Брюсова:

Ты должен быть гордым, как знамя,  
Ты должен быть острым, как меч,  
Как Данте подземное пламя  
Должно тебе щеки обжечь...

Данте Михаил Васильевич очень любил. Даже на фронте он читал нам иногда наизусть отрывки из «Ада» по-итальянски и тут же переводил их.

— Сколько же языков он знал?

Фурманов стал загибать пальцы:

— Кроме русского — немецкий, французский, английский, итальянский, киргизский, казахский и татарский...

Шесть лет я проработал под руководством А. М. Горького в журнале «Наши достижения». На одном из первых редакционных совещаний Горький посоветовал нам, молодым литераторам:

— Идите в люди! Вы жизнь знаете мало, потому не пренебрегайте опытом бывалых людей. Умейте их находить и слушать. Каждый человек, проживший большую трудовую жизнь, — это роман.

Один из начинающих писателей спросил:

— Алексей Максимович, я понимаю, нам надо больше ездить.

Но почему в «Наших достижениях» при командировках дают проездные только на общие вагоны. Я ездил от «Нового мира», там дают на мягкий.

Горький иронически поднял брови:

— А может быть, всего полезнее литератору поехать даже не третьим классом, а в товаро-пассажирских поездах. Там, на общих нарах, в тесноте, при тусклой свечке, люди разговорчивее и откровеннее, чем в мягких вагонах. Да и пешком иногда полезно походить по родной земле. Не думайте, что путь писателя должен быть усыян розами. Он обычно усыпан гвоздями. И пребольшими!

Много лет я ездил по стране, бывал в цехах, в общежитиях, спускался в шахты, собирался написать большую книгу о рабочих. Но пока что сил хватало только на небольшие книжечки: «Комсомольцы», «В каморках», «Люди окраин», «Рассказы из записной книжки», «Город завтрашнего дня», «Наш «Шарикоподшипник».

В начале тридцатых годов, по инициативе Горького, мы, группа писателей: Яков Ильин, Борис Галин, Арон Эрлих, Борис Яглинг и я, по многу месяцев живя на Сталинградском тракторном заводе, проведя десятки бесед с рабочими, инженерами, партийными работниками, американскими специалистами, выпустили сборник «Люди Сталинградского тракторного». А. М. Горький в предисловии к сборнику одобрил его. И лишь после этого обнадеживающего опыта я начал догадываться, как можно построить книгу о Фрунзе, об иваново-вознесенских рабочих, чтобы она не потребовала десятка томов а не отняла нескольких десятилетий жизни автора.

В 1939 году я переехал в Иваново и прожил там более года в светелке, за ситцевой занавеской, где в 1905 году жил Трифоныч — Фрунзе, в доме старой ткачихи; с рассказа ее о том, как она штопала Трифонычу рубашку, начинается моя повесть. Я разыскивал старых большевиков, тех, кто работали с Фрунзе в подполье, сидели с ним в тюрьме, воевали под его командованием на фронтах гражданской войны.

Я влюбился в этот город и в его людей. И они встречали меня, как брата. Едва я произносил: «Собираюсь писать книгу о Фрунзе, о

вашем революционном прошлом», — в глазах моего собеседника вспыхивали огоньки:

— Наконец-то! Голубчик мой, где же ты был раньше? Садись сюда, тут поудобнее, я тебе все расскажу. Маруся, ставь самовар! Где-то у меня спрятаны листовки тех времен. Бери, бери! И вот эти каракули возьми. Когда-то сам собирался писать о Фрунзе. Да где уж там, с моей грамотешкой! А с Алексанчем ты беседовал? Вот кто тебя просветит насчет Фрунзе. Маша, слетай на минутку к Александру, скажи, мы тут еще часок посидим и к нему придем.

Шли месяц за месяцем, мои тетради с записями множились, пули, дело явно двигалось к десяти томам. Сотня биографий, тысячи подробностей! Интересные люди! Хотелось обрисовать и отметить каждого. Десятки героев! Но не превратится ли моя повесть в адресную книгу, в телефонный справочник? И тут мне, к счастью, вспомнился еще один совет А. М. Горького. Как-то он рассказывал нам в редакции «Наших достижений»: «Знаю по своему опыту: надо встретить и познать двадцать — тридцать купцов и городовых, чтобы создать обобщенные образы одного купца и одного городского».

Шаг за шагом, постепенно возникал в моем воображении обобщенный образ второго героя моей повести, рассказчика Александра Ершова, вобравшего в себя характерные черты и биографии многих и многих иваново-вознесенских рабочих.

Я привез мою повесть, озаглавленную «Они работали с Фрунзе», в Москву, сдал ее в журнал «Знамя». Ровно через четыре дня меня вызвали в редакцию и показали резолюцию Всеволода Вишневского: «Немедленно печатать!» Это было в конце 1940 года. И опять множество людей помогали мне пополнять и совершенствовать мою повесть. Вишневский помог мне познакомиться с братом Фрунзе Константином Васильевичем, с его сестрой Клавдией Васильевной, с Федором Федоровичем Новицким, который в тот год был начальником кафедры истории гражданской войны в Военной академии имени Фрунзе.

Федор Федорович в своем кабинете в академии вынул из негояемого шкафа папки с приказами Фрунзе и несколько вечеров втолковывал мне, почему опыт Фрунзе — это не «просто история», почему

этот опыт поможет всем нам в новой, Великой войне, той, что уже нависла над нами. Думаю, в предчувствии больших и грозных событий и Всеволод Бишневский торопился с изданием повести о Фрунзе. Он не хотел разбивать ее на несколько номеров журнала и опубликовал всю целиком в двоенном январском номере журнала «Знамя» за 1941 год.

Вот и все, что мне казалось нужным сказать об истории этой книги. Хочется пожелать молодым писателям, чтобы они чаще вспоминали совет учителя жизни, заботливого мастера нашего литературного цеха: «Идите в люди!»

# О Г Л А В Л Е Н И Е

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Трифоныч . . . . .                 | 3  |
| 2. Так складывался характер . . . . . | 12 |
| 3. Иваново-Вознесенск . . . . .       | 18 |
| 4. Проблески мысли . . . . .          | 24 |
| 5. Штаб революции . . . . .           | 29 |
| 6. Всеобщая стачка . . . . .          | 34 |
| 7. На берегах Талки . . . . .         | 39 |
| 8. Трудные книги . . . . .            | 45 |
| 9. Становлюсь оратором . . . . .      | 50 |
| 10. Выиграли или проиграли? . . . . . | 56 |
| 11. Начало кровавой бсерьбы . . . . . | 62 |
| 12. Арсений . . . . .                 | 71 |
| 13. Арест Фрунзе . . . . .            | 79 |
| 14. В тюрьме . . . . .                | 84 |
| 15. Сила большой идеи . . . . .       | 91 |

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1. Много лет спустя . . . . .      | 99  |
| 2. Доверие к людям . . . . .       | 105 |
| 3. Дело Фокина . . . . .           | 111 |
| 4. Костлявая рука голода . . . . . | 115 |



|   |     |
|---|-----|
| 5. По пояс в снегах . . . . .                     | 121 |
| 6. Победы или поражения . . . . .                 | 128 |
| 7. В штабе армии . . . . .                        | 138 |
| 8. Чапаев приехал . . . . .                       | 142 |
| 9. Неудачная командировка . . . . .               | 150 |
| 10. Бой за Уфу . . . . .                          | 156 |
| 11. О военном таланте . . . . .                   | 166 |
| 12. Федя Сооруженков . . . . .                    | 172 |
| 13. Средняя Азия . . . . .                        | 177 |
| 14. Татарский полк . . . . .                      | 184 |
| 15. Красота Востока . . . . .                     | 192 |
| 16. Полководец, ученый, народный трибун . . . . . | 203 |
| 17. Последняя встреча . . . . .                   | 210 |
| 18. <i>Как создавалась эта книга</i> . . . . .    | 217 |

*Вигилянский Николай Дмитриевич*

**ПОВЕСТЬ О ФРУНЗЕ**

---

М., «Советский писатель», 1975, 224 стр. План выпуска 1975 г. № 70. Художник Н. А. Шеберстов. Редактор А. И. Крутиков. Худож. редактор Е. И. Балашиха. Техн. редактор А. И. Мордовина. Корректор Т. Н. Гуляева. Сдано в набор 2/XII 1974 г. Подписано к печати 7/III 1975 г. А02244. Бумага 70×108 $\frac{1}{2}$  № 2. Печ. л. 7 (9,8). Уч.-изд. л. 9,54. Тираж 100 000 экз. Заказ № 930. Цена 38 коп. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Отпечатано с матриц Тульской типографии «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109. Ленинград, Фонтанка, 57, Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского. Заказ 183.